

ЛЕОНИДА  
ЩЫПКИН

ЛЕТО В БАДЕНЕ

РОМАН



ImWerdenVerlag  
München 2005



Цыпкин Л.

Лето в Бадене. *Роман* / Вступ. статья Сюзан Зонтаг. Послесловие Андрея Устинова. — М.: Новое литературное обозрение, 2003. — 224 с.

Первое издание романа Леонида Цыпкина, вышедшее в переводе на английский язык, стало на Западе сенсацией. «Затерянный шедевр», «грандиозная вежа русской литературы XX века», «самое неизвестное гениальное произведение, напечатанное в Америке за последние 50 лет» — таковы отзывы из посыпавшихся вслед рецензий. Именно о нем Сюзан Зонтаг написала так: «Этот роман я, ничуть не усомнившись, включила бы в число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века, полного литературы и литературности — в самом широком смысле этого определения». В завораживающем ритме романа сплелись путешествие рассказчика из Москвы 70-х годов в Ленинград и путешествие Достоевского с женой Анной Григорьевной из Петербурга в Европу в 1867 году, вымысел в нем трудно отличить от реальности.

© Леонид Цыпкин (наследники)

© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. OCR и правка: А. Белоусенко, 2005

<http://imwerden.de>

## ЛЮБИТЬ ДОСТОЕВСКОГО\*

Литература второй половины двадцатого века — многократно исхоженное поле. Трудно представить, что до сих пор еще можно найти неизвестный шедевр, созданный к тому же на одном из тех языков, которые находятся под пристальным наблюдением. И все же лет десять назад, перебирая потрепанные обложки на одном из книжных развалов лондонской Чэринг Кросс Роуд, я обнаружила именно такую книгу, «Лето в Бадене». Этот роман я, ничуть не усомнившись, включила бы в число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века, полного литературы и литературности — в самом широком смысле этого определения.

Почему эта книга практически неизвестна, установить несложно. Для начала, автор ее по профессии не был писателем. Леонид Цыпкин — врач, известный исследователь, который опубликовал порядка ста научных работ в Советском Союзе и за рубежом. Но отбросим любые сравнения с Чеховым и Булгаковым — этот русский врач-писатель не увидел ни одной своей страницы в печати.

Цензура и трудности, с ней связанные — это лишь часть истории. Для официальной публикации проза Цыпкина не подходила совершенно, но не «ходила» и в самиздате. По разным причинам — из гордости, хронического чувства безнадежности, опасения быть отвергнутым даже неофициальным литературным истеблишментом, — Цыпкин оставался вне независимых литературных сообществ подпольных литературных кругов, которые расцвели в Москве в 1960—1970-х годах. В эти годы он писал «в стол». Писал для себя. Писал для литературы.

В сущности, роман «Лето в Бадене» уцелел почти чудом.

Леонид Цыпкин родился в Минске в 1926 году в еврейской семье. Родители его были врачами. Мать, Вера Пуляк, занималась туберкулезом легких. Отец, Борис Цыпкин, был хирургом-ортопедом. В 1934 году, в начале Большого террора, его арестовали, разумеется — по фантастическому обвинению, но вскоре освободили — в результате вмешательства влиятельного знакомого после того, как он пытался покончить с собой, бросившись в тюрьме в лестничный пролет. Домой он вернулся на носилках, с поврежденным позвоночником, но инвалидом не стал, и работал хирургом до самой кончины в 1961 году в возрасте 64 лет. Брат и две сестры Цыпкина, тоже арестованные, сгинули в сталинских лагерях.

Минск пал через неделю после немецкого вторжения в 1941 году. Мать Бориса Цыпкина, сестра и два малолетних племянника погибли в гетто. Ему с женой и пятнадцатилетним Леонидом помог бежать председатель соседнего колхоза. В прошлом

---

\*Авторизованный перевод с английского Андрея Устинова.

благодарный пациент, он приказал снять с грузовика несколько бочек соленых огурцов, чтобы разместить в кузове уважаемого хирурга с семьей.

Спустя год Леонид Цыпкин поступил в медицинский институт, который он закончил в 1947 году, вернувшись с родителями после войны в Минск. В 1948 году он женился на Наталии Мичниковой, экономисте по профессии. Их единственный сын Михаил родился в 1950 году. К тому времени запущенная на год раньше сталинская кампания государственного антисемитизма набирала обороты, и Цыпкину пришлось скрываться в деревне среди работников психиатрической больницы. В 1957 году ему удалось поселиться с семьей в Москве — ему предложили место патологоанатома в престижном Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов. Цыпкин вошел в группу, которая занималась полиомиелитом, в частности — разрабатывала применение в СССР вакцины Сэбина. Институтские годы отражают многообразие его научных интересов (среди которых можно упомянуть реакцию раковых тканей на летальные вирусные инфекции и патологию обезьян).

Цыпкин всегда страстно любил литературу, всегда немного писал для себя — стихи и прозу. Еще студентом, в двадцать лет с небольшим, он думал оставить медицину и заняться изучением литературы, чтобы посвятить себя писательскому ремеслу. Разрываемый вечными русскими вопросами — как жить без веры? без Бога? — он боготворил Толстого, которого со временем вытеснил Достоевский. Другим его увлечением было кино. Здесь главным кумиром был Микельанджело Антониони, но так и не стал А. Тарковский. В начале 1960-х он собирался поступить на вечернее отделение ВГИКа, чтобы стать режиссером, но, как он признавался позже, надо было обеспечить семью.

Тогда же, в начале 1960-х, Цыпкин начал писать всерьез. Его стихи написаны под сильным влиянием М. Цветаевой и Б. Пастернака, фотографии которых висели над его маленьким рабочим столом. В сентябре 1965 года он решился показать кое-что Андрею Синявскому, однако за несколько дней до назначенной встречи Синявского арестовали. Ровесники (Синявский был на год старше) так и не увиделись, а Цыпкин стал еще осторожней. «Отец не склонен был много говорить или думать о политике, — рассказывает живущий в Калифорнии Михаил Цыпкин. — У нас в семье было принято без всяких споров, что советский режим — это воплощенное Зло». Несколько раз попытавшись пристроить стихи в печать, Цыпкин на несколько лет оставил литературу, посвятив все свободное время завершению докторской диссертации «Изучение морфологических и биологических свойств клеточных культур трипсинизированных тканей» (его кандидатская была о росте опухолей мозга при повторных операциях). После успешной защиты в 1969 году он получил надбавку к зарплате, которая позволила ему больше не подрабатывать по вечерам прозектором в районной больнице. В сорок с лишним лет он снова сел писать — но уже не стихи, а прозу.

За оставшиеся тринадцать лет жизни Цыпкин создал не так уж много произведений, но размеры его литературного наследия не дают ни малейшего представления о размахе, глубине и сложности его прозы. Вслед за короткими этюдами появились более длинные, с более сложным сюжетом рассказы, потом — две автобиографические повести («Мост через Нерочь» и «Норартакир»), и, наконец, его последняя и самая большая работа, «Лето в Бадене», своего рода романсон, в котором спящий — сам Цыпкин — силой воображения переплетает свою жизнь с жизнью Достоевского в потоке неостановимого, страстного повествования.

Литературный труд был всепоглощающим, отчуждающим. «С понедельника по пятницу, — сообщает Михаил Цыпкин, — ровно без четверти восемь отец отправлялся на дальнюю (почти во Внуково) работу в Институт полиомиелита. Он возвращался домой ровно в шесть и после ужина и короткого сна садился писать — если не прозу, то научные статьи. В 10 часов он ложился, а перед этим иногда выходил погулять. В

выходные тоже обычно писал. Вообще отец искал любую возможность, чтобы писать, но это было болезненно трудно. Он мучился над каждым словом, бесконечно выправляя рукопись. Закончив редактирование, перепечатывал тексты на старенькой, сияющей чистотой немецкой трофейной «Эрике», которую ему в 1949 году подарил дядя. В таком виде и сохранились его рукописи. По редакциям он их не рассылал и не хотел давать в самиздат, боялся «разговоров» с КГБ и остаться без работы». Как же надо верить в литературу, чтобы писать без надежды на публикацию? При жизни Цыпкина читали несколько человек — жена, сын, парочка университетских товарищей сына. С московскими литературными кругами он связан не был.

В семье близким к литературе человеком была младшая сестра матери Цыпкина, литературовед Лидия Поляк. Читатели «Лета в Бадене» встречаются с ней уже на первой странице. В поезде, уходящем в Ленинград, рассказчик раскрывает книгу, которая, судя по любовному вниманию к деталям переплета и узорной закладке, по настоящему дорога ему. Эту ветхую и почти рассыпавшуюся книгу, которая оказывается изданием «Дневника» Анны Григорьевны Достоевской, второй жены писателя, Цыпкин «взял у своей тетки, обладательницы большой библиотеки, и в глубине души не собирался ее возвращать». Он отдал ее переплетчику, который «подрезал страницы так, что они стали ровными, одна в одну, и заключил ее в плотную обложку, на которую наклеил первую, заглавную страницу книги с названием».

Неназванная по имени «тетка» и есть Лидия Поляк, которую, по словам Михаила Цыпкина, отец не раз упоминает с обидой еще в нескольких рассказах. Представительница московской интеллигенции с обширными литературными связями, она с 1930-х годов работала в Институте мировой литературы и осталась там даже после увольнения из МГУ в начале 1950-х, во время борьбы с «космополитизмом». Ее младшим коллегой по ИМЛИ был Андрей Синявский. Именно она договорилась с ним о встрече с Цыпкин-ым, а потом сообщила Цыпкину о его аресте, но творчество племянника по-видимому не одобряла и не воспринимала всерьез, и он ей этого не простил.

В 1977 году Михаил и его жена Елена решились на эмиграцию. Наталья Мичникова, опасаясь, что ее секретность может помешать сыну, уволилась из Госснаба, где она работала в отделе, занимавшемся дорожным и строительным оборудованием, в том числе — и для военной промышленности. Разрешение на выезд дали, и Михаил с Еленой уехали в США. Как только КГБ сообщило об этом С. Дроздову, директору Института полиомиелита, Цыпкина немедленно перевели на должность младшего научного сотрудника, несмотря на ученую степень и двадцатилетний стаж. Его зарплату, теперь — единственный источник семейного дохода, сократили втрое. Цыпкин каждый день ходил в институт, хотя был лишен возможности заниматься лабораторными исследованиями, по определению — коллективными. Практически все его коллеги отказались работать с ним в одной группе, из страха, чтобы их не сочли сообщниками «нежелательного элемента». Никакого смысла искать другое место не было, поскольку в заявлении на работу пришлось бы указать, что сын уехал за границу.

В июне 1979 года Цыпкин с женой и матерью подали документы на выезд. Они прождали почти два года, и в апреле 1981 года им сообщили об отказе, пояснив, что их выезд «нецелесообразен». Напомню, что к 1980 году выезд из СССР фактически прекратился: ухудшились отношения с США из-за советского вторжения в Афганистан. Никаких поблажек от Вашингтона в обмен на выезд советских евреев ожидать не приходилось. Именно в это время Цыпкин написал большую часть «Лета в Бадене».

Книга была начата в 1977 году и закончена в 1980-м. Написанию романа предшествовали годы подготовки: работа в библиотеках и посещение мест, связанных с Достоевским и его героями. Он фотографировал места, описанные у Достоевского, в то же время года и даже, если это было оговорено, в то же время суток. Фотолюби-

телем он был с молодости и еще с начала 1950-х обзавелся фотокамерой. Завершив роман, он преподнес альбом этих фотографий музею Достоевского в Ленинграде.

Разумеется, напечатать роман в Советском Союзе не представлялось возможным, но оставалась надежда на публикацию за рубежом — так поступали в ту эпоху лучшие писатели. Цыпкин решился на этот шаг, попросив своего друга, журналиста Азария Мессерера, получившего в начале 1981 года разрешение эмигрировать, вывезти контр-рабандой рукопись и несколько фотографий. Мессерер переслал роман через знакомых американцев, мужа и жену, московских корреспондентов агентства Ю-Пи-Ай.

В конце сентября того же года Цыпкины снова подали документы на выезд. Девятнадцатого октября в возрасте восьмидесяти шести лет умерла Вера Поляк, а через неделю пришел еще один отказ. На этот раз решение приняли меньше чем за месяц.

В начале марта 1982 года Цыпкин отправился к директору московского ОВИРа, который сказал ему: «Доктор, вам никогда не разрешат уехать». В понедельник пятнадцатого марта Дроздов уведомил Цыпкина, что он уволен. В тот же день Михаил, учившийся в аспирантуре Гарвардского университета, позвонил в Москву и сообщил, что в прошлую субботу его отца наконец «напечатали». Азарию Мессереру удалось устроить публикацию «Лета в Бадене» в «Новой газете» — русском еженедельнике, который издавался в Нью-Йорке. Первый фрагмент романа с несколькими фотографиями появился в номере от 13 марта 1982 года.

В следующую субботу, двадцатого марта, в день своего пятидесятишестилетия Цыпкин сел с утра за стол, чтобы переводить с английского медицинский текст — технический перевод оставался для отказников одним из немногих источников заработка, — но ему стало плохо с сердцем, он прилег, позвал жену и умер. Опубликованным писателем он пробыл ровно семь дней.

В отличие от превосходной «Осени в Петербурге» Джозефа М. Койтци (Кутзее) «Лето в Бадене» — не фантазия в духе Достоевского. Но и к жанру документального романа эту книгу отнести нельзя, хотя фактическая точность временных и биографических обстоятельств была для Цыпкина делом профессиональной чести. Представляя себе публикацию романа в виде книги, он, возможно, думал, что там будут и его фотографии, предугадывая тем самым манеру В. Г. Зебальда, который уснащал свои книги фотографиями, придавая простому правдоподобию таинственность и грусть.

Что за роман «Лето в Бадене»? С самого начала он предполагает двойную экспозицию. Это зима, конец декабря, день не указан, все происходит «теперь»: рассказчик едет в Ленинград, бывший и будущий Санкт-Петербург. И это — середина апреля 1867 года; Достоевские, Федор Михайлович («Федя») и его молодая жена Анна Григорьевна («Аня») выехали из Петербурга в Дрезден. Путешествие Достоевских — действие романа почти полностью происходит за границей и не только в Бадене — изучены во всех подробностях. Те части романа, где действует рассказчик, сам Цыпкин, совершенно автобиографичны. Поскольку воображение и факт легко противопоставить, мы склонны полагаться на жанровые рамки, отделяя выдумку (художественную литературу) от настоящей жизни (хроники и автобиографии). Однако это — наша условность. В японской литературе роман от первого лица («shishosetsu») — в основном автобиографическое повествование, содержащее выдуманные эпизоды, — одна из доминирующих жанровых форм.

«Лето в Бадене» воссоздает сразу же несколько «реальностей», описывает их, изображает их в близком к галлюцинации потоке чувств. Оригинальность романа заключается в том, как с автобиографического повествования неназванного рассказчика, путешествующего среди безрадостной советской действительности, он переключает

ется на историю странствующих Достоевских. Сквозь развалины нынешней культуры лихорадочно-ярко проступает прошлое. Свое путешествие в Ленинград Цыпкин превращает в хождение по душам своих персонажей — «Феди» и «Ани», обнаруживая в себе поразительную, невероятную силу сопереживания. Цыпкин задержится в Ленинграде на несколько дней. Его паломничество — явно не первое, несомненно, одинокое, — завершится посещением дома, где умер Достоевский. А Достоевские только начинают свои безденежные странствия — они пробудут в Европе четыре года (здесь уместно вспомнить, что автора «Лета в Бадене» так и не выпустили из СССР). Дрезден, Баден, Базель, Франкфурт, Париж — их жребий постоянно пребывать в взвинченном состоянии: из-за удушающей, унижающей безнадежности их финансового положения; из-за необходимости бесконечно торговаться с бесцеремонными иностранцами — швейцарцами, извозчиками, домовладелицами, официантами, лавочниками, ростовщиками, крупье; из-за собственных внезапных прихотей и бурных переживаний. Страсть к игре. Угрызения совести. Огонь лихорадки. Любовный жар. Пожар ревности. Угар раскаяния. Страх...

Не азарт, не творчество, не религиозность определяют главное направление в изображении жизни Достоевского в романе. Это обжигающее великодушное супружеской любви, которая не ставит условий и границ, но не гарантирует счастья. Кто сможет забыть о «плавании» влюбленных — уникальной метафоре акта любви? Всепрощающая, но всегда полная собственного достоинства любовь Ани к Феде перекликается с преданностью поборника литературы Цыпкина писателю Достоевскому.

Ничто не выдуманно. И выдуманно все. Действие выстроено вокруг путешествия по местам Достоевского и его романов, но это — лишь повод для создания книги, которую мы держим в руках. «Лето в Бадене» относится к редкому и исключительному типу романа, где рассказ об исторической личности, выдающемся представителе другой эпохи вплетается в историю настоящего. Автор пытается как можно глубже проникнуть во внутренний мир человека, своей судьбой обреченного не только на величие, но и на бессмертие. Другой пример — «Артемизия» Анны Банти, шедевр итальянской литературы XX века.

На первой странице Цыпкин покидает Москву. Через две трети книги он прибывает на Московский вокзал в Ленинграде. Зная, что совсем недалеко от вокзала есть «обычный серый петербургский дом», в котором Достоевский провел последние годы жизни, он направляется со своим чемоданом дальше, ступает в ледяной ночной сумрак, пересекает Невский проспект, проходит по другим местам, памятным по последним годам Достоевского, и приходит туда, где всегда останавливается в Ленинграде, — в обшарпанную коммунальную квартиру, к подруге его матери, о которой он пишет с невыразимой нежностью. Она встречает его, кормит, постилает ему на старой продавленной кушетке, и задает тот же вопрос, который он слышит каждый раз: «Ты все еще увлекаешься Достоевским?» Когда она уходит спать, Цыпкин наугад снимает с полки том из дореволюционного собрания сочинений Достоевского. Это оказывается «Дневник писателя» и, предаваясь размышлениям о загадке его антисемитизма, герой засыпает.

Следующее утро он проводит в разговорах с любящей его хозяйкой, слушает ее истории об ужасах Ленинградской блокады и, когда короткий зимний день уже погружается в сумерки, отправляется бродить по городу, «фотографируя „дом Раскольникова” или „дом старухи процентщицы” или „дом Сонечки” или дома, в которых жил их автор, потому что именно здесь-то он и жил в самый темный и подпольный период своей жизни, в первые годы после возвращения из ссылки». Далее, «ведомый каким-то внутренним чутьем», Цыпкин выходит «совершенно точно к нужному месту» и чувствует, как его сердце «даже провалилось от радости и еще от какого-то другого,

смутного чувства» — он оказывается напротив четырехэтажного углового дома, где умер Достоевский, а теперь расположен музей. Посещение музея, в залах которого стоит «почти церковная тишина», предвосхищает рассказ о последних днях Достоевского, сопоставимый по силе разве что с описанием смерти в соответствующих сценах Толстого. Сквозь призму неподдельного горя Анны Григорьевны переданы бесконечные часы, которые она проводит у постели умирающего. В этой книге о любви вообще, о семейной любви и о любви к литературе Цыпкин не смешивает и не сравнивает эти чувства, но воздаст им должное, ибо каждое из них вносит в роман свое обжигающее пламя.

Если любить Достоевского, что можно поделаться — что может поделаться еврей, — зная, что Достоевский ненавидел евреев? Как объяснить злобный антисемитизм, который выказывает «человек, столь чувствительный в своих романах к страданиям людей, этот ревностный защитник униженных и оскорбленных»? И как понять, что именно заключено «в этом особом тяготении евреев к Достоевскому»?

Длинный список «евреев-литературоведов, ставших почти монополистами в изучении творческого наследия Достоевского», выстроенный Цыпкиным, начинается с талантливого и, пожалуй, самого выдающегося из них Леонида Гроссмана (1888—1965). Его труды — важный источник биографических построений Цыпкина. Еще одна книга, которая помимо «Дневника» названа в начале романа — результат научной работы Гроссмана. Он подготовил первое издание «Воспоминаний А. Г. Достоевской», которое вышло в свет через семь лет после ее смерти, в 1925 году. Цыпкин предполагает, что в этой книге нет упоминаний «о жидочках на лестнице» и прочих подобных выражений, возможно, потому, что «Воспоминания» написаны вдовой накануне революции, «может быть, даже уже после знакомства с Леонидом Гроссманом».

Цыпкин, по-видимому, знал такие значительные исследования Гроссмана, как «Бальзак и Достоевский» (1914) и «Библиотека Достоевского по неизданным материалам» (1919). Вряд ли он прошел мимо повести «Рулетенбург» (1932) — фантазии на полях романа об игровой страсти (как известно, «Игрок» сперва именно так и назывался). Но одну книгу Гроссмана Цыпкин вряд ли читал, поскольку она была фактически изъята из обращения. «Исповедь одного еврея» (1924) — это история жизни одновременно самого необычного и самого жалкого из еврейских поклонников Достоевского, Аркадия Ковнера (1842—1909), уроженца виленского гетто, с которым Достоевский вступил в переписку. Безрассудный самоучка Ковнер поддался чарам писательского таланта и, прочитав «Преступление и наказание», пошел на воровство, чтобы помочь больной бедной девушке, в которую был влюблен. В 1877 году осужденный на четыре года каторги, накануне этапа в Сибирь, Ковнер написал Достоевскому из камеры в Бутырской тюрьме, обвинив его в ненависти к евреям (за первым письмом последовало и второе — о бессмертии души).

Тема антисемитизма Достоевского выплескивается на страницы «Лета в Бадене», едва Цыпкин прибывает в Ленинград, но разрешения этому мучительному вопросу нет и в конце романа: «<...> мне казалось до неправдоподобия странным», что Достоевский «не нашел ни одного слова в защиту или в оправдание людей, гонимых в течение нескольких тысяч лет, — <...> — евреев он даже не называл народом, а именовал племенем, <...> — и к этому „племеню“ принадлежал я и мои многочисленные знакомые или друзья, с которыми мы обсуждали тонкие проблемы русской литературы». Но все это не мешало евреям любить Достоевского. Почему?

Единственное объяснение, которое предлагает Цыпкин, — это вообще любовь евреев к русской литературе. Такое умозаключение напоминает о другом, похожем явлении: немецкое поклонение Гете и Шиллеру по большей части было тоже делом

евреев — до тех пор, пока Германия не принялась их уничтожать. Любить Достоевского значит любить литературу.

Благодаря уникальному стилю «Лето в Бадене» объединяет главные темы русской литературы и, как при ускоренном обучении, стремительно пролистывает их перед читателем. Язык романа позволяет неожиданно смелые и увлекательные переходы от первого к третьему лицу — от собственных поступков, воспоминаний и размышлений автора («я») к сценам с Достоевскими («он», «они», «она»). С такой же легкостью роман перетекает из прошлого в настоящее. Настоящее в романе — не только паломничество Цыпкина, как и прошлое — не только поездка в Баден или жизнь Достоевских с 1867 по 1881 годы. Границы времени условны: Достоевский подчиняется нахлынувшему на него воспоминаниям еще более давних лет, а рассказчик призывает в настоящее память прошлого.

Каждый абзац начинается чрезвычайно длинное предложение, части которого соединены многочисленными тире или союзами «и» (чаще всего), «но» (достаточно часто), «хотя», «впрочем», «в то время, как», «как будто», «потому что», «как бы». Точка — только в конце всего абзаца. Пока длится страстно растянутое предложение, поток чувств захлестывает повествование о жизни Достоевского и уносит его дальше и дальше вместе с рассказом о жизни Цыпкина. Предложение, которое начинается рассказ о Феде и Ане в Дрездене, может напомнить о каторге; приступ игровой лихорадки может выхватить из памяти его роман с Аполлинойрией Суловой, куда будут вплетены воспоминания об учебе в мединституте и размышления над строкой Пушкина.

Предложения Цыпкина вызывают в памяти слог Жозе Сарамыго — его набегавшие друг на друга фразы, разрывающий описание диалог, обволакивающее диалог описание, пронизанное глаголами, которые упорно отказываются пребывать только в прошлом или только в настоящем времени. По своей нескончаемости предложения Цыпкина оказывают воздействие, своей необузданной силой сравнимое лишь со стилем Томаса Бернхарда. Разумеется, Цыпкин не читал ни того, ни другого. Создавать «прозу экстаза» ему помогали другие писатели XX века. Ему нравилась ранняя проза Пастернака, то есть «Охранная грамота», а не «Доктор Живаго». Он любил Цветаеву. Он почитал Рильке, отчасти потому, что Цветаева и Пастернак ему поклонялись. Вообще же западных писателей он читал немного и только в переводе. Из того, что Цыпкину удалось прочесть, самое сильное впечатление произвел Кафка, том которого был выпущен в Советском Союзе в середине 1960-х годов. Поразительные предложения, которыми написан роман — всецело его собственное изобретение.

Михаил Цыпкин рассказывает, что его отец был чрезвычайно внимателен к частностям и безукоризненно аккуратен. Объясняя, почему он стал патологоанатомом и категорически не согласился быть лечащим врачом, Елена Цыпкина замечает, что «его всегда интересовала смерть». Вероятно, только такой страдающий от навязчивостей ипохондрик, одержимый мыслями о смерти, и мог изобрести предложение, которое добивается свободы столь необычным путем. В предложениях Цыпкина — идеальное воплощение эмоционального накала и всеобъемлющего спектра его тем. Если относительно небольшая книга написана длинными предложениями, это значит, что все рассчитано, все взаимосвязано, все подвижно в страстном проявлении писательского упорства.

Помимо рассказа о великом Достоевском, роман Цыпкина — превосходное путешествие по русской действительности. Советское прошлое от Большого террора 1930-х до паломничества автора в конце 1970-х, воспринимается так, словно все это — в порядке вещей, как ни странно звучит подобное заявление. Книга буквально пульсирует историей. Кроме того, «Лето в Бадене» — вдохновенный и волнующий рассказ о русской литературе и русских писателях. В романе есть Пушкин, Тургенев (в сцене резкой

ссоры с Достоевским), а кроме того, великие фигуры нравственного противостояния и литературы XX века — Цветаева, Солженицын, Сахаров, Боннер.

Закрыв «Лето в Бадене», переводишь дух и чувствуешь себя потрясенным, но окрепшим и — главное — благодарным литературе за то, что она таит в себе и какие чувства она способна вызвать. Леонид Цыпкин написал не очень длинную книгу, но его путешествие оказалось длиной в жизнь.

Июль 2001 г.

## Лето в Бадене

*Посвящается Кларе Михайловне Розенталь*

«И кто знает... может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной... непрерывности процесса достижения, иначе сказать — в самой жизни, а не собственно в цели...»

*Ф. Достоевский. «Записки из подполья»*

«И как назойливы, как дерзки ваши выходки, и в то же время как вы боитесь!»

*Ф. Достоевский. «Записки из подполья»*

Поезд был дневной, но была зима, самый разгар ее — конец декабря, кроме того, поезд шел в сторону Ленинграда — на север, поэтому за окнами быстро стало темнеть, — яркими огнями вспыхивали лишь уносившиеся назад, словно брошенные чьей-то невидимой рукой подмосковные станции — дачные платформы, занесенные снегом, с чередой мелькающих фонарей, сливающихся в одну огненную ленту, — станции проносились с глухим грохотом, словно поезд шел по мосту, — грохот смягчался двойными рамами, почти герметизирующими вагон, с мутными полузамерзшими стеклами, но огни станций все равно пробивались сквозь стекла и чертили огненную линию, а там, дальше, угадывались необозримые снежные пространства, и вагон сильно качало из стороны в сторону — бортовая качка — особенно ближе к тамбуру, и, когда за окнами стало совсем темно и осталась лишь смутная белизна снега, а подмосковные дачи кончились, и в окне вместе со мной побежало отражение вагона со всеми его лампами-плафонами и сидящими пассажирами, я достал из чемодана, находившегося надо мной в сетке, книгу, начатую мною уже в Москве и специально взятую мною в дорогу в Ленинград, и открыл ее в том месте, где она была заложена закладкой с китайскими иероглифами и каким-то изящным восточным рисунком, — книгу эту я взял у своей тетки, обладательницы большой библиотеки, и в глубине души не собирался отдавать ее обратно — я отдал ее в переплет, потому что она была очень ветхая, почти рассыпалась — переплетчик подрезал страницы так, что они все стали ровными, одна в одну, и заключил ее в плотную обложку, на которую наклеил первую, заглавную страницу книги с названием, — это был дневник Анны Григорьевны Достоевской, вышедший в каком-то мыслимом еще в то время либеральном издательстве — не то «Вехи», не то «Новая жизнь», не то что-то еще в этом роде — с указанием дат по новому и старому стилю, со словами и целыми фразами на немецком или французском языке без перевода, с обязательной приставкой «М-ме» (мадам), употребляемой с гимназической прилежностью, — расшифровка ее стенографических записей, которые она вела в первое лето после своего замужества, за границей.

Достоевские выехали из Петербурга в середине апреля 1867 года и уже на следующее утро были в Вильне. В гостинице им то и дело попадались на лестнице жидочки,

навязывающие свои услуги и даже бежавшие за пролеткой, в которой ехали Анна Григорьевна и Федор Михайлович, чтобы продать им янтарные мундштуки, пока те не прогнали их, а вечером на старых узких улицах можно было увидеть тех же жидочков с пейсами, которые прогуливали своих жидовочек. А еще через день или два они прибыли в Берлин, а потом в Дрезден, и начались поиски квартиры, потому что немцы, в особенности же немки, всякие фрейлины — владелицы пансионов или просто мебелированных комнат, драли немилосердно с приехавших русских, плохо кормили, официанты обманывали на мелочах, и не только официанты, да и вообще немцы были народ бестолковый, потому что не могли объяснить Феде, как пройти на ту или другую улицу, и обязательно показывали в противоположную сторону — уж не нарочно ли? Впрочем, жидочков Анна Григорьевна заприметила еще раньше — во время своего первого прихода к Феде в дом Олонкина, где он писал «Преступление и наказание», и дом этот, по позднему свидетельству Анны Григорьевны, сразу же ей напомнил дом, в котором жил Раскольников, а жидочки среди прочих снующих жильцов тоже повстречались на лестнице. (Впрочем, справедливости ради, надо заметить, что в «Воспоминаниях», написанных Анной Григорьевной незадолго до революции, может быть, даже уже после знакомства с Леонидом Гроссманом, о жидочках на лестнице не упоминается). На фотографии, вклеенной в «Дневник», у Анны Григорьевны, тогда еще совсем молодой, было лицо не то фанатички, не то святоши, с тяжеловатым взглядом исподлобья. А Федя уже был в летах, небольшого роста, коротконогий, так что, казалось, если он встанет со стула, на котором он сидел, то окажется лишь немного выше ростом, с лицом русского простолюдина, и по всему было видно, что он любил фотографироваться и усердно молиться. Так отчего же я с таким трепетом (я не боюсь этого слова) носился с «Дневником» по всей Москве, пока не нашел переплетчика, жадно перелистывал в транспорте ветхие страницы, выискивая глазами такие места в книге, которые я, казалось, уже предвидел, а потом, получив у переплетчика книгу, которая сразу стала увесистой, положил ее на свой письменный стол, не убирая ее от туда ни днем, ни ночью, как Библию? Отчего ехал сейчас в Петербург — да, не в Ленинград, а в Петербург, по улицам которого ходил этот коротконогий, невысокий (как, впрочем, наверное, и большинство жителей прошлого века) человек с лицом церковного сторожа или отставного солдата? Отчего читал эту книгу сейчас, в вагоне, под неверным, мерцающим светом ламп, который то разгорался, то почти гас в зависимости от скорости движения поезда и работы дизелей, под хлопанье дверей тамбура, куда то и дело входили и откуда выходили курящие и некурящие со стаканчиками в руках, чтобы напоить детей, или помыть фрукты, или просто в туалет, дверь которого хлопала вслед за дверью тамбура, под хлопанье и стук всех этих дверей, под бортовую качку, то и дело уводившую текст куда-то в сторону, вдыхая запах угля и паровозов, которых давно уже нигде не было, только почему-то запах этот оставался? Они поселились в комнате у *M-me Zimmermann*, высокой сухощавой швейцарки, но еще в первый день приезда, остановившись в гостинице на центральной площади, сразу же пошли в галерею, — перед зданием Пушкинского музея в Москве выстроилась огромная очередь, пускали порциями, и вот где-то на площадке между этажами висела «Сикстинская мадонна», а под нею стоял милиционер, — много лет спустя в этом же музее показывали «Джоконду» Леонардо, за двойным пуленепробиваемым стеклом, специально освещенным, — очередь из «блатных», выгибаясь, подходила к картине, вернее, к бронированному стеклу, за которым, словно набальзамированный труп в саркофаге, помещалась картина с мадонной и пейзажем позади, и улыбка мадонны была действительно загадочной, а, может быть, это было просто внушено бытующей характеристикой, и рядом с картиной тоже стоял милиционер и, деликатно подгоняя очередь, потому что считалось, что она состоит из специалистов или особо пригла-

шенных лиц, говорил: «Прощайтесь, прощайтесь», — возле картины люди старались подзадержаться, а потом, завернув обратно, влившись в уходящую петлю очереди, шли, продолжая оглядываться на картину, выламывая себе шею, повернув голову почти на сто восемьдесят градусов, — Сикстинская же мадонна висела в простенке между окнами, так что свет был боковой, а день к тому же пасмурный, — картина была подернута какой-то дымкой. Мадонна плыла в облаках, которые казались воздушным подолом ее платья, а может быть, просто сливались с ним, — а где-то внизу слева, подобострастно глядя на Мадонну, выступал апостол с шестью пальцами на руке — я сам подсчитал, действительно их было шесть, — фотография этой картины, подаренная Достоевскому ко дню его рождения через много лет после поездки в Дрезден, уже совсем незадолго до его смерти, потому что считалось, что это его любимая картина, хотя любимой его картиной была, возможно, картина «Мертвый Христос» Гольбейна-младшего, так вот, фотография «Мадонны» Рафаэля, обрамленная деревянной рамкой, висит над кожаным диваном, на котором умер Достоевский, в музее Достоевского в Ленинграде — воздушная Мадонна держит наискосок, в полусидячем положении, так же воздушно запеленатого младенца, словно кормит его грудью, как это делают цыганки, при всех, но выражение ее лица только какое-то неуловимое, как и у Джоконды, — и такая же фотография, только поменьше и, наверное, похуже, поскольку она была уже сделана в наше время, стоит, словно нарочито небрежно оставленная там, за стеклом книжных полок у моей тетки. Достоевские ходили в галерею каждый день, как в Кисловодске ходят в курзал, чтобы выпить нарзан, или встретиться, или просто постоять, наблюдая за публикой, а потом шли обедать — нужно было выбрать ресторан подешевле, и где хорошо кормят, и где кельнеры меньше обманывают — они постоянно обманывали Достоевских на два или три зильбергроша, потому что все немцы решительно были мошенники, — однажды после очередного посещения галереи они пошли обедать на Брюллеву террасу, живописно раскинувшуюся над Эльбой, — они уже раньше заметили кельнера, которого прозвали «дипломатом», потому что он был похож на дипломата, и, кроме того, в прошлый раз они поймали его на том, что за чашку кофе он брал вдвое больше — 5 зильбергрошей вместо двух, но они его обхитрили — вместо чаевых 5 зильбергрошей Анна Григорьевна подсунула ему монету в 2 зильбергроша, которую он же дал им сдачи вместо положенных 5 зильбергрошей, — на сей раз они сильно проголодались, особенно Федя, а «дипломат» вместо того, чтобы подойти к ним, усиленно занимался каким-то саксонским офицером, который пришел позже них, — у офицера был красный мясистый нос и желтоватые глаза, и по всему видно было, что он любит выпить, — Федя позвал кельнера, однако, тот с невозмутимым видом продолжал обслуживать офицера, который заправлял накрахмаленную салфетку за тугой воротник кителя, — «дипломат» явно мстил им за прошлый раз — Федя постучал ножом по столу — «дипломат» наконец подошел к ним, но только так, мимоходом, и сказал, что он и так слышит и незачем стучать, — Федя заказал еще курицу и телячьи котлеты — через некоторое время «дипломат» принес только одну порцию курицы, а на вопрос Феде: «Что это значит?» — подчеркнуто вежливо ответил, что они заказывали только одну порцию, а потом то же самое повторилось с телячьими котлетами, — в соседней зале четыре лакея играли в карты, а в зале, где они обедали, было всего несколько посетителей, — очевидно, кельнер ошибался нарочно — лицо Феде покрылось красными пятнами — он стал громко говорить жене, что если бы он был здесь один, то он бы показал им, и даже закричал на нее, как будто она была виновата в том, что они пошли сюда вдвоем, — приподняв нож и вилку, он нарочно бросил их, так что они со звоном упали, чуть не разбив тарелку, — на них уже посматривали — они вышли не оглядываясь, — уходя, Федя бросил на стол целый талер вместо 23 зильбергрошей, которые им полагалось уплатить, и хлопнул дверью,

так что задрожали стекла, — они шли по аллее, обсаженной каштанами, он — впереди, решительной походкой, она — сзади, еле поспевая за ним, — если бы не она, он бы довел дело до конца и настоял бы на своем, а теперь он уходит, оплеванный этим мерзавцем-лакеем, потому что все лакеи мерзавцы, — они воплощение самых низменных свойств человеческой природы, но во всех нас сидят задатки этого проклятого лакейства, — разве сам он не заглядывал угодливо в глаза этому мерзавцу плац-майору, когда тот пьяный, с красным носом и со своим желтым рысьим взглядом — ага — вот кого давеча напомнил ему саксонский офицер! — когда он пьяный, в сопровождении караульных, ворвался в барак и, увидев арестанта в серо-черной одежде с желтым тузом на спине лежащим на нарах, потому что арестанту в этот день нездоровилось и он не мог выйти на работу, заорал во всю мочь своей здоровенной глотки: «Встать! Подойти ко мне!» — этим арестантом был он, человек, идущий сейчас по каштановой аллее прочь от этого ресторана и от этой террасы, живописно раскинувшейся над Эльбой, — он и тогда, в остроге, видел все это со стороны, словно это происходило во сне или не с ним, а с кем-то другим, — однажды он присутствовал в кордегардии на экзекуции — наказуемый лежал неподвижно под ударами розог, оставлявших кровавые следы на его спине и ягодице, и так же молча тот встал, аккуратно застегнул свою арестантскую одежду и ушел, не удостоив даже взглядом Кривцова, который стоял тут же рядом, — удастся ли ему так же смолчать и с достоинством уйти из кордегардии? — он вскочил с нар, лихорадочно оправляя на себе трясущимися руками свою серо-черную куртку, пошел к Кривцову, стоявшему в дверях барака, — он шел, опустив голову, — нет, не шел, а почти бежал, и это само по себе было уже унижительно, а подойдя к плац-майору, посмотрел на него, не твердо и жестко, а с мольбой в глазах — он почувствовал это по одному тому, как хищно расширились зрачки Кривцова — зрачки его желтых, рысьих глаз — они были рысьими не только потому, что походили на глаза рыси, но и потому, что рыскали, выискивая очередную жертву, — он и тогда, стоя перед ним, подумал про это, и ему тогда же странным показалось, что он в такую минуту может думать об этом — впрочем, какое здесь было лакейство?! — это был страх, самый обыкновенный страх, но разве не страх рождает лакейство? — Анна Григорьевна догнала его и, продев свою руку в потертой перчатке под его локоть, виновато заглянула ему в глаза — если бы не она, он показал бы этому лакею, он поставил бы их всех на место! — он медленно перевел взгляд с ее лица на руку ее, лежавшую у него на плече, — «По-моему, в таких перчатках не пристало ходить аккуратной женщине», — медленно отчеканил он и снова перевел свой взгляд на ее лицо — губы ее задрожали, а веки как-то странно вспухли, — она еще шла рядом с ним, но только по инерции и еще потому, что ей казалось, что это относится не к ней, — он не мог сказать такого ей — оставив его, она быстрым шагом, почти бегом свернула в какую-то боковую аллею, тоже обсаженную каштанами, — на секунду оглянувшись, она увидела сквозь листву и слезы его фигуру, по-прежнему решительно шагающую по аллее, — на нем был темно-серый, почти черный костюм, купленный в Берлине, — ему даже в голову не пришло тогда сказать ей, чтобы она купила себе новые перчатки, хотя эти уже разъезжались по швам, и она еще в дороге, при нем, два раза зашивала их, — теперь он же ее еще и попрекал, хотя деньги на их путешествие были получены от заклада вещей ее матери, — она шла по улице, почти бежала, держась ближе к домам, опустив вуаль, чтобы не было видно ее вспухшего от слез лица, а навстречу ей попадались добропорядочные немцы в котелках со своими немками, и лица у них были розовые и самодовольные, они вели за ручку детей, чисто и аккуратно одетых, и им не нужно было думать, чем расплачиваться за сегодняшний обед или ужин, и они не повышали голоса друг на друга, а Федя давеча, в ресторане, закричал на нее. Она проскользнула через дверь своего дома, стараясь остаться незамеченной, вошла в комнаты, сначала — в большую,

служившую им столовой, с развешанными по стенам олеографиями, изображавшими то реку — наверное, Рейн — с отражающимися в ней деревьями, то какие-то замки на вершине горы на фоне неестественно голубого неба, затем — во вторую комнату, служившую им спальней, с двумя громоздкими кроватями и в третью, маленькую — Федину — с письменным столом, на котором лежали аккуратно сложенные листы белой бумаги и гильзы от папирос с просыпанным табаком, и вдруг поняла, что она шла сюда с тайной надеждой, что он опередил ее и уже ждет ее дома, — она решила пойти на почту, куда Федя часто заходил, но на почте его не оказалось, и писем тоже не было, — она пошла снова домой — теперь-то он уж должен был прийти — М-те Zimmermann, встретившаяся ей на лестнице, сказала, что Федя был, но ушел куда-то, — она побежала на улицу и вдруг увидела его — он шел навстречу ей, бледный, виновато и даже как-то заискивающе улыбаясь, — оказывается, он вернулся на террасу, думая, что она вернулась туда для независимости, а потом пошел в читальню искать ее, — они зашли на минуту домой, чтобы переодеться, потому что собирался дождь, — когда они вышли, дождь лил в три ручья, но надо же было пообедать, — они зашли в Hotel Victoria и спросили три блюда, которые обошлись им в 2 талера и 10 зильбергрошей — цена страшная, потому что за котлету брали 12 зильбергрошей, ну где это видано! — но день был решительно несчастливый, — когда они вышли из ресторана, было уже 8 часов вечера, темно, шел дождь, и она раскрыла свой зонт, но не так, как это делают предусмотрительные немцы, и задела какого-то немца, проходившего мимо, — Федя раскричался на нее, потому что ее неловкость могла быть превратно истолкована этим немцем, и у нее снова вспухли глаза, но, слава Богу, в темноте этого никто не видел, а потом они пошли домой рядом, не разговаривая друг с другом, словно чужие, — а дома, за чаем, они снова побранились, хотя дальше уже было некуда, а потом она спросила его что-то насчет его предполагаемого отъезда в Nomburg, и он снова раскричался на нее, и она в ответ тоже что-то закричала и ушла в спальню, а он заперся в кабинете, но ночью пришел к ней прощаться, — он приходил каждую ночь прощаться к ней, в особенности же после ссор и размолвок, так что в слово «прощаться» вполне можно было вложить и иной смысл, — он нежно будил ее, и гладил, и целовал, потому что она была его, и в его силах было сделать ее несчастной или счастливой, и это сознание своей полной власти над молодой неопытной женщиной, с которой он мог бы сделать все, что ему заблагорассудится, походило, наверное, на то чувство, которое я испытываю к маленьким гладким собачкам, которые уже при одной только протянутой к ним руке, даже для ласки, начинают пугливо и заискивающе вилять хвостом, прижиматься к земле и дрожать мелкой дрожью, — он обнимал ее, целовал в грудь, и начиналось плавание — они плыли большими стежками, выбрасывая одновременно руки из воды, одновременно набирая воздух в легкие, все дальше от берега, к синей выпуклости моря, но почти каждый раз он попадал в какое-то встречное течение, которое относило его в сторону и даже чуть назад, — он не успевал за нею, а она продолжала все так же ритмично выбрасывать руки и терялась где-то вдаль, и ему казалось, что он уже не плывет, а только барахтается в воде, пытаясь достать ногами дна, и это течение, относившее его в сторону и не дававшее ему плыть вместе с ней, странным образом обращалось в желтые глаза плац-майора с хищно расширившимися зрачками, в поспешность, с которой он расстегивал свою арестантскую одежду, чтобы лечь на отполированный сотнями тел низкий дубовый стол, стоявший посередине кордегардии, в стоны, которые он не смог сдержать, когда на его тело обрушились удары розог, как будто через его мышцы и кости протягивали раскаленную проволоку, в судорожные корчи, которые начались у него после экзекуции, в насмешливые или сострадательные взгляды присутствовавших при этом, в брезгливую улыбку плац-майора, когда он велел вызвать врача и, круто повернувшись на каб-

луках, вышел из кордегардии, и точно такое же возникало у него с другими женщинами, потому что все они, так же как и Аня, незримо присутствовали на экзекуции — заглядывали в зарешеченные окна кордегардии, в дверь, пытались зайти, чтобы заступиться за него, но их не пускали, — все они были свидетелями его унижения, и он ненавидел их за это, потому что это не позволяло ему испытывать всей полноты ощущений, а сегодня ко всему этому примешивались еще наглый взгляд лакея, издевавшегося над ними, и лицо саксонского офицера, напоминавшее лицо плац-майора. Он давно уже заметил в зале галереи, где висела Сикстинская Мадонна, мягкий с изогнутой спинкой стул, стоявший как-то отдельно от других стульев, на которые присаживались посетители галереи, чтобы отдохнуть или полюбоваться картиной, — на него почему-то никто не садился — может быть, он предназначался для служителя, а, может быть, представлял собой какую-то историческую ценность — и, когда он в первый раз подумал о том, чтобы сделать это, холод пробежал по его спине, настолько это казалось неосуществимым и дерзким. Проходя мимо стула, он примеривался и раз даже чуть уже не занес ногу, но в зале было много народа, и служитель в форменной куртке со скучающим видом подпирал стену. А может быть, как раз и следовало сделать это при всех и при служителе особо, потому что именно служитель должен был воспротивиться этому. Когда он подходил к стулу, сердце его проваливалось куда-то, и он задерживался только на секунду, словно раздумывал, с какой стороны обойти этот стул, а затем проходил дальше и с преувеличенным интересом вглядывался в Мадонну. Но в эту ночь, когда Аня ушла так далеко от него, и он барахтался где-то возле берега и не мог достать дна, — в эту ночь он твердо положил себе сделать это. Когда утром они, как обычно, вошли в галерею, он сразу же пошел в зал, где висела Сикстинская Мадонна, сердце его стучало, отдаваясь в ушах, — перед картиной толпилось много народа, некоторые стояли или сидели чуть поодаль со зрительными трубами — через них лучше было видно, так как взгляд не расплывался, а сосредоточивался на картине, — в первый момент он не увидел стула, и по тому, как перестало биться и трепыхать его сердце, он понял, что внутренне обрадовался этому. Но оказалось, что стул был просто загорожен людьми, служитель тоже находился в зале, при полной форме, в ливрее с золочеными пуговицами — Федя решительными шагами пошел к стулу, даже как-то расталкивая посетителей, — Анна Григорьевна, зашедшая в зал вместе с ним, стояла где-то в стороне и даже, кажется, взяла зрительную трубу — он ступил ногой на стул, закрыв глаза, или, может быть, просто он ничего не видел в этот момент, потом стал другой ногой — башмаки его ушли вглубь мягкого сиденья — поверх голов присутствующих картина была видна особенно хорошо — плывущая в облаках Мадонна с младенцем на руках и благоговейно глядящий на нее снизу вверх апостол, а вверху ангелы, — в общем-то он для этого и встал, потому что нужно же было придумать какое-то объяснение для этого лакея, когда он будет пытаться стащить его со стула, — «Федя, ты с ума сошел!» — Анна Григорьевна стояла рядом с ним, испуганно глядя на него снизу вверх, и даже осторожно потянула его за рукав — он возвышался теперь над всеми посетителями — все они были пигмеями, и таким же пигмеем был служитель, устремившийся к нему — на том месте, где только что висела картина, появилось лицо плац-майора с бычьей шеей и массивным подбородком, подпертым тугим воротничком мундира, он улыбнулся застенчиво и даже как-то заискивающе, и это уже была не одна его физиономия, а вся фигура, почему-то тщедушная и кланяющаяся, а там, где только что стояли посетители, на месте их голов было море, — и они с женой плыли по этому морю в синеватую даль, ритмично выбрасывая руки, одновременно вдыхая воздух, все дальше и дальше удаляясь от берега, а плац-майор почти совсем исчез, только где-то вдалеке маячила его жалкая согбенная фигура — фигура нищего, просящего подаяние, — «Господин, у нас запреще-

но становиться на стулья», — сказал служитель и строго посмотрел на хорошо одетого человека, стоявшего на стуле, — служитель подвинулся вперед и приподнял руку, словно предлагая ее для опоры стоявшему на стуле, — он сошел, почти спрыгнул со стула, оттолкнув руку служителя, и увидел в углу залы Анну Григорьевну — за это время она успела отойти туда и теперь делала вид, что упорно рассматривает картину в трубу, но руки ее, державшие трубу, дрожали, — «Ради Бога, уйдем отсюда», — сказала она охрипшим от волнения голосом, когда он подошел к ней, — посетители оглядывались на них и перешептывались о чем-то, — взяв его под руку, она повлекла его к двери, ведущей в другую залу, — он должен был выстоять на стуле до конца, несмотря на замечание лакея, а он все-таки не выдержал и сошел — лицо плац-майора, появившееся теперь в широком окне залы, нагло улыбалось, а его рука, толстая и мясистая, ухарски и победоносно разглаживала усы, а в окна кордегардии заглядывали какие-то люди — близкие знакомые наказуемого и женщины — и взгляды их полны были сострадания и участия, а он лежал на столе со спущенными штанами, и караульный методично хлестал его, — он резко освободился от руки Анны Григорьевны — она решительными шагами, опустив голову, вышла в соседний зал — стул не должен был оставаться пустым, это было неестественно — пустой стул, — он быстро направился к центру залы, и вот уже ноги его снова погрузились во что-то мягкое, сквозь которое ощущались пружины — теперь он будет здесь стоять столько, сколько он захочет, он должен перебороть в себе это низкое чувство перед лакеем, неужели он не сможет преступить через эту черту? — в зале притихли, словно перед поднятием занавеса, — лицо плац-майора, появившееся теперь снова на месте картины, было наглым и подмигивающим, — размахнувшись, он наотмашь ударил его ладонью по щеке, и оно исчезло, провалилось куда-то, наверное, с самим плац-майором, который лежал на полу возле отполированного стола — арестант, которого он только что пытался наказать, стоял в торжествующей позе, наступив ногой на живот плац-майора, а зрители, заглядывавшие в окна, шумно рукоплескали ему, и женщины, в особенности те, с которыми он был близок, смотрели на него восторженно и посылали ему воздушные поцелуи, — он сошел со стула, не торопясь, не соскочил, а именно сошел и медленно направился в соседнюю залу — в двери он столкнулся со служителем, который, видимо, отлучался куда-то, и лакей почтительно уступил ему дорогу, а ночью, когда он пришел к Ане прощаться, они снова поплыли вместе, ритмично выкидывая руки, одновременно поднимая головы из воды, чтобы вдохнуть воздух, и течение не сносило его — они плыли к удалявшемуся горизонту, в неведомую синюю даль, а потом он снова целовал ее — темный треугольник вершиною был обращен вниз, и вершина эта всегда казалась ему недоступной, словно вершина высочайшей горы, тонувшей где-то в облаках, хотя та вершина, к которой стремился он, была обращена вниз, — впрочем, скорей, это было дно вулканического кратера — в этой вершине и в этом недостижимом дне крылась страшная и сладкая разгадка чего-то такого, чего он не мог ни назвать, ни даже представить себе, и потом всю жизнь, даже в письмах к ней, он без конца стремился приблизиться к этой вершине-кратеру, но она оставалась недоступной, — выстоял ли он давеча на стуле в зале, где висела Мадонна, столько, сколько он хотел? — ведь служитель отсутствовал, когда он во второй раз стоял на стуле, и поэтому нельзя было утверждать, что он выстоял вопреки воле служителя, хотя решил же он про себя, что будет стоять, пока не выведут, — пусть бы вывели его — служитель и даже, может быть, полицейский потащили бы его через всю залу на глазах у всех и у Ани, и все покатило бы вниз, под гору, быстрее и быстрее, и тогда он бы уже не поднялся с отполированного стола, на котором его наказывали, и лицо плац-майора нависало бы над ним синюшно-красным шаром, словно брюхо напившегося кровью комара, и вся жизнь его превратилась бы в сладкую пытку, потому что от такого унижения

уже только дух могло захватывать, но не произошло ни того, ни другого — он сошел, хотя и по собственной воле, но не дождавшись служителя, и в то же время не довел дело до скандала — запретная вершина треугольника, прячущаяся в облаках и в то же время уходящая в земные недра, может быть, к самому центру земли, где постоянно кипит лава, вершина эта оставалась недоступной — Аня нежно гладила его по лицу, но он, даже не сказав ей, как обычно: «Покойной ночи», — ушел к себе, а через полчаса она проснулась от странного звука — не то хрипенья, не то клокотанья, — засветив дрожащими руками свечу, она бросилась к постели мужа — он лежал на самом краю ее, стибаясь всем телом так, как будто хотел присесть, но ему мешала невидимая веревка, которой он был привязан к кровати, с посиневшим лицом, с пеной у рта, — она изо всей силы подтянула его к середине кровати, чтобы он не упал, и, встав на колени, принялась вытирать полотенцем пену с его губ и пот, катившийся с его лба, — теперь он лежал спокойно, с бледным, словно у мертвеца, лицом, — невидимая веревка взяла свое — он так и не сумел сесть, неужели это был ее муж? — этот человек с посиневшим лицом, пытающийся сесть в кровати, преодолевая чье-то невидимое сопротивление, с вскипающей на губах пеной, с жидковатой всклокоченной бородой, сбившейся куда-то набок, — неужели это к нему несколько более полугодом назад она поднималась по узкой мрачной лестнице с крутыми ступеньками, оправляя свою мантильку, с бьющимся от волнения сердцем, заглушавшим стук ее каблучков, с прерывающимся от волнения дыханием, в сотый раз заглядывая в свою сумку, куда она положила купленные только что в Гостином дворе новенькие карандаши и пакетик почтовой бумаги (не потеряла ли она их?), ловко опередив на час свою подругу по курсам, тоже лучшую ученицу, потому что с того момента, как она узнала, что *ему* нужна стенографистка, все вокруг нее поплыло и закачалось, как на корабле во время шторма, — огромной волной снесло все снасти и даже перила — оставалась только одна мачта, и все находившиеся на палубе пытались добраться до этой мачты и обхватить ее руками, чтобы их тоже не смыло в море, но ухватиться за эту мачту мог только один человек, и этим одним человеком должна была стать она, — он встретил ее в прихожей, чуть наклонив набок голову, словно рассматривал какое-то неведомое ему насекомое, а из другой двери показался какой-то неопрятный молодой человек с брюзгливым выражением лица — его пасынок, — молодой человек надменно и нагло улыбнулся, и потом, когда она приходила, он снова так же улыбался и еле кивал ей, — а *он* привел ее в небольшую комнату с письменным столом, еще с каким-то круглым столиком, несколькими стульями с выцветшей обивкой и, усадив ее за круглый столик, принялся ей диктовать, — в этот день он больше не взглянул на нее, а ходил взад и вперед по комнате и диктовал глухим неприятным голосом, и она боялась его переспросить, потому что ей казалось, что он ее сейчас же отправит, но надо было удержаться, схватиться за мачту прежде других, и она, теряя равновесие, падая, неуклонно подвигалась к этой мачте — на третий или четвертый день работы она поймала на себе его взгляд, живой и испытующий, и ей на секунду показалось, что он хочет подойти к ней и сказать что-то или спросить, но она строго опустила глаза, с преувеличенным интересом всматриваясь в только что сделанные ею стенографические записи, — она почти уже ухватилась за мачту, но не следовало торопиться, чтобы не потерять в последний момент равновесия, — с каждым разом он подходил к ней все ближе и ближе — он шагал теперь не из угла в угол комнаты, как в первые разы, а вокруг нее, и круги эти с каждым разом становились все уже и уже — паук, приближающийся к мухе, — и что-то сладко-запретное было в этом неизбежно суживающемся кружении и для него, и для нее, и захватывало дух, но она все так же строго, теперь даже аскетически закрывала глаза, избегая его взглядов, но не она ли ткала эту паутину, может быть, они оба вырабатывали ее? — нити паутины провисали, и в иной момент, казалось, могли порваться, но

этот иной момент было только открывание двери кабинета с просовыванием головы пасынка, с его наглой, надменной и обличающей ухмылкой, так что диктовавший переходил с кругов снова на диагонали — из угла в угол — и старался не взглядывать на стенографистку, но это было выше его сил, а она встречала появление пасынка тяжелым взглядом в упор исподлобья, может быть, тогда он у нее впервые и появился, этот взгляд, которым она смотрит с фотографии на первой странице «Дневника», — в конце концов, вся эта паутинная возня кончилась тем, чем должна была кончиться: он сладко ужалил свою жертву, а она ухватилась за мачту и прижалась к ней всем телом, чтобы ее не смыло и чтобы никто другой не смог за нее ухватиться. Он рассказал ей все: и про каторгу, и про падучую, и про безденежье (о котором она и так догадывалась). И про договор со Стелловским, согласно которому он должен был представить новый роман не позднее тридцатого числа этого месяца — в противном случае все права на издание его произведений переходили к Стелловскому, — он сидел за круглым столиком напротив нее и угощал ее чаем с кренделями, которые он сам выбрал в кондитерской на Вознесенском проспекте — сладости он любил покупать сам, и здесь в Дрездене, возвращаясь с почты или из галереи, он накупал всякие лакомства, которые она любила, и, кроме того, ягоды и фрукты — из окна она видела, как он приближался к дому, нагруженный покупками, неся в обеих руках свертки, — она ждала его возле двери — он любил, чтобы она выходила ему навстречу и принимала покупки из его рук, и сердился, если она чуть запаздывала, — в петербургской квартире, сидя за круглым столиком напротив нее, он сам наливал ей чай и надтреснутым голосом рассказывал ей о себе — она уже не опускала глаз, а смотрела на него прямо, в упор, и этот взгляд исподлобья в упор казался ему ясным и кротким, и, наверное, таким он и был, этот взгляд, — иногда он теребил свою бороду, а когда он вставал и шел на кухню, чтобы принести еще чаю, ноги его как-то странно передвигались, почти не сгибаясь в коленях, как будто они еще были связаны цепями, а потом он стал ездить к ним домой на Пески, и маменька ее суежилась, накрывая на стол, и еще они как-то поехали вместе на пролетке — он подвозил ее куда-то — и когда на каком-то людном перекрестке кучер осадил лошадей, она по инерции наклонилась вперед, и, хотя ясно было, что она не упадет, он придержал ее за талию, даже на секунду обнял, и она вспыхнула, и потом, уже после свадьбы, они поехали в Москву и остановились в гостинице Дюссо, в небольшом номере на третьем этаже, откуда были видны заснеженные колокольни и купола московских церквей, а внизу — засыпанные снегом улицы с наезженными от саней колеями, из гостиницы каждый почти день они отправлялись на санях, укрывшись теплым меховым пологом, к его сестре, жившей на Старой Басманной, по дороге они останавливались возле Меншиковой башни, а затем возле церкви Успенья Богородицы на Покровке, они выходили на несколько минут, чтобы обойти церковь вокруг, — она была в Москве в первый раз, и он показывал ей все так, как хозяин дома показывает свои вещи, которыми он гордится, — когда выйдя из саней, они направлялись к церкви, он на минутку останавливался, снимал шапку и крестился, кланяясь, и она тоже крестилась и кланялась, а в квартире у его сестры она ловила на себе неприятные взгляды домочадцев, потому что они мыслили женить Федю на какой-то своей родственнице, и это не получилось, она отвечала им взглядами исподлобья, но, когда Федя уходил в соседнюю комнату или оживленно беседовал с барышнями, ей начинало казаться, что мачта, за которую она теперь уже прочно держалась, настолько прочно, что даже уже забыла, что она держится за нее — мачта эта вдруг начинала выскальзываться из ее рук, и она, опустив глаза, делала вид, что оправляет оборки на своем платье, но пальцы ее, помимо ее воли, комкали материю, и она чуть приподнималась на стуле, снова поправляя кринолин, а в гостиничном номере, когда в коридоре все затихало, он, так же как и здесь, в Дрездене, приходил к ней прощаться, и они

принимались плавать, выбрасывая из воды руки, и заплывали так далеко, что очертания берега терялись, а в Петербурге снова начались неприязненные взгляды пасынка и жены его покойного брата, Эмилии Федоровны, сухонькой дамы, с колющими угольного цвета глазами, и все они хотели отобрать его у нее, и в квартире у них то и дело стали появляться кредиторы, полные и самодовольные купчики с толстыми золотыми кольцами на толстых коротких пальцах, с брелочками на тяжелой золотой цепочке, свисавшей из жилетного кармана, — все они требовали уплаты долга за прогоревшую табачную фабрику его брата и за прежнюю редакцию братьев, и он вел с ними какие-то бесконечные переговоры, а потом явился квартальный надзиратель в фуражке с голубым околышем и, прищелкнув каблуками, объявил, что завтра будут описывать их имущество, и тогда она поехала к маменьке, и маменька, перекрестив ее и поцеловав в обе щеки, сказала, что заложит свои фамильные вещи, — они временно откупились от кредиторов и от описания имущества и выехали из Петербурга за границу, подальше от всего этого кошмара, от неприязненных взглядов, от пасынка, от кредиторов, и когда они сели в вагон, ей казалось, что теперь начинается новая для них жизнь, — он по-прежнему лежал, хотя уже не пытался сесть, дыхание его еще было беспокойным, прерывистым, и воздух с шипением вырывался сквозь его стиснутые зубы, превращаясь на губах в пену, где-то там, внутри его горла что-то клокотало и булькало, как будто он набрал воды и полоскал ею горло, — она все так же стояла на коленях, вытирая полотенцем пену и пот, дотрагиваясь до его лба, который теперь, как и все лицо, стал бледным, вглядываясь в его глаза — они были открыты, и взгляд их был устремлен на нее, но он не узнавал ее, а на стене отбрасываемая колеблющимся светом свечи плясала тень от его взлохмаченной бороды, похожая на фигуру какого-то косматого чудовища, — ей вдруг стало страшно, и она бросилась к двери, чтобы позвать *M-me Zimmermann* или хотя бы служанку, или вызвать врача, но он тихо и раздельно позвал ее, и она снова уже стояла возле него на коленях, смотрела ему в глаза, гладила его лоб, а он, отыскав ее другую руку, притянул ее к себе и прижал к губам, — через тринадцать с половиной лет он точно так же притянул к своим губам ее руку, после того как она прочла ему загаданное им в Евангелии место, и попросил пригласить к нему детей, чтобы попрощаться, — он лежал тогда в своей петербургской квартире на кожаном диване со спинкой под фотографией Сикстинской Мадонны, подаренной ему ко дню рождения, — почти таким запечатлел его Крамской — голова его чуть тонет в приподнятой подушке, но только чуть-чуть, так что от головы его радиально в виде лучей расходятся морщины, образовавшиеся на подушке, глаза закрыты, выражение лица строгое и вместе с тем умиротворенное, как это бывает почти у всех мертвых, и длинная, почему-то темная борода из завивающихся в виде колец волос — точно такую же бороду я вижу почти каждое утро в троллейбусе — она принадлежит старику, бодро сажающемуся в троллейбус на остановке возле двухэтажного чистого особняка, окна которого всегда занавешены и на котором висит доска с надписью: «Совет по делам религии при Совете Министров СССР» — старик держится прямо, в руке у него толстая суковатая палка, а на голове старомодная фуражка, вроде тех, что носили когда-то лавочники или просто мещане, — наверное, она с тех пор у него и сохранилась, одежда на нем тоже какая-то старомодная, что-то вроде косоворотки, поверх которой надет пиджак, — все поношенное, но чистое и аккуратное, — усевшись, он кладет обе руки на верхний конец своей палки — одну руку на другую — и руки его тоже хорошо ухоженные и крупные, выражение лица его строгое и постное, борода чуть задрана вперед — я почему-то стараюсь не попадаться ему на глаза и исподтишка рассматриваю его — он выходит вместе со мной, на той же остановке, но идет не к метро, а дальше — идет быстро, обгоняя меня, и поворачивая за угол, направляется к церкви, где через несколько минут должна начаться утренняя служба.

Поезд загрохотал по мосту, и я, оторвавшись от книги, прижался лицом к окну и приставил ладони к лицу наподобие шор, чтобы отгородиться от яркого освещения, — сквозь смутную белизну зимней ночи, хотя еще был только вечер, да к тому же еще и не поздний, где-то вдалеке виднелось множество мерцающих огней — захлопали двери тамбуров, какие-то пассажиры с чемоданами в руках стали пробираться к выходу, сталкиваясь с выходящими из тамбура какими-то детьми и девицами со стаканами и с термосами в мокрых руках, отряхивая руки, просушивая их на воздухе, потому что полотенца в туалете, наверное, не было, или оно было настолько мокрым и захватанным, что было уже непригодно для использования. Поезд подходил к Калинину. За окном замелькали огни привокзальных построек, где-то за ними — теряющиеся вдали цепочки уличных фонарей, шлагбаум с освещенной будкой, притушенные фары машин, ожидающих возле шлагбаума, снова огни, уже более яркие, затем прямо под окном медленно поплыла высокая платформа, ярко освещенная, заснеженная, с фигурами людей в зимних пальто и полушубках, с чемоданами в руках, затем здание вокзала, тоже с ярко освещенными окнами, за которыми тоже виднелись фигуры людей — в ресторане, в зале ожидания, у билетных касс, возле газетного киоска, — вагон остановился, чуть миновав здание вокзала, — снова захлопали двери, и из тамбура ворвались клубы морозного пара, на платформе засуетились, побежали — одни, отыскивая свой вагон, другие, выскочившие из поезда без пальто, — в поисках пива, пирожков и газет, — по другую сторону платформы и вокзала стоял точно такой же поезд с красными вагонами, только шедший в противоположном направлении — из Ленинграда в Москву, но именно в Калинине они встречались и останавливались, — после покупки пирожков или газет, засуетившись и в спешке, вполне можно было перепутать поезда и уехать в противоположном направлении, — а где-то там, по обе стороны от этих симметрично стоящих поездов, в снежной мгле, освещаемые лишь цепочками уходящих во мрак редких фонарей, раскинулись дома неведомого мне города — Достоевский приехал сюда из Семипалатинска, прямо из ссылки, с первой своей женой, Марьей Дмитриевной, чахоточной и истеричной женщиной, и вначале поселился в гостинице, а затем через несколько дней в трех меблированных комнатках близ почтамта, — было начало осени, но скоро надвинулась настоящая осень с рано наступающими вечерами, с поздними рассветами, с дождями — город утопал в грязи, а он все бегал из одного ведомства в другое, затем на почту, посылал всемиловейшие просьбы и ходатайства о выдаче разрешения на жительство в Санкт-Петербурге, прилагал врачебные справки, бегал ночью встречать на станцию брата, ехавшего из Петербурга в Москву, потом на обратном пути снова бегал его встречать, кто-то еще проезжал мимо Твери, и он опять бежал ночью на станцию, отстоявшую в трех верстах от почтамта, — уже немолодой, с развевающимися полами вытертого сюртука, с неестественными, словно нафабранными, короткими усиками, еще не сбритыми после унтер-офицерства, в чин которого он был возведен за смиренное поведение, бросающийся из стороны в сторону, то вправо, то влево, к подъезжавшим к Твери из Москвы или Петербурга, кланяющийся, громко говорящий, требующий, хватаящий высокопоставленных господ за фалды фрака или мундира, просящий выслушать, умоляющий, хитро рассчитывающий свои ходы, чтобы не продешевить, почти как те жидки, которые впоследствии преследовали его и Анну Григорьевну в Вильне, предлагая свои услуги, слезно просящий в письме к брату купить для Марьи Дмитриевны шляпку, обязательно фиолетовую, потому что нельзя же ходить простоволосой, а здесь ничего не купишь, — через одиннадцать лет во время повторного пребывания его с Анной Григорьевной в Дрездене в очередной меблированной квартире, расположенной в угловой части дома, потому что угол дома это была вершина треугольника, к которой он всегда стремился, в квартире этой, на письменном столе с традиционной

оплывшей свечой и стаканом крепкого чая, в одну из ночей появятся первые записи, сделанные мелким, почти каллиграфическим почерком, и из тумана начнет вырисовываться фигура Князя\*, этой главной антитезы самому себе, воплощения несбыточной мечты своей, этого сверхчеловека с демоническими чертами лица, шагающего твердой дьявольской походкой по шатким мосткам, проложенным вдоль одной из утопающих в грязи и ночном мраке улиц губернского города, в котором он поселился после ссылки, а рядом со Ставрогиным, нет, не рядом, а позади и ступая по грязи, потому что рядом и по тем же мосткам он не смел, мелкими шажками засеменит Петр Степанович Верховенский, быстро и гладко говорящий, изворотливый, угодливый, а если надо, убивающий, с сероватым лицом и даже, может быть, остриженный под машинку, странно напоминающий мне одного моего знакомого — мы учились с ним в одном классе и даже почти дружили домами — отец этого моего одноклассника часто бывал у нас в доме — в основном он приходил к моему дедушке, с которым он был почти ровесником, но был пристрастен к женщинам и часто менял жен, причем все они были русскими, а сам он, естественно, был евреем, — он был пианистом, как потом я понял, третьесортным — рядовым преподавателем консерватории или даже музыкального училища, но тогда я, пытавшийся сочинять какую-то музыку, смотрел на него, как на нечто загадочное и недоступное, почти как на бога, и, когда он однажды — только однажды, и поэтому он уже совсем превратился для меня в бога — однажды, придя к нам, сел за пианино, открыл крышку, которую открывал я, прикоснулся к клавишам, на которых я разыгрывал свои экзерсисы, когда он, сев за наше обыденное, стоявшее в столовой и слегка расстроенное пианино, начал играть вальс Шопена — седьмой вальс, тот вальс, который я тщетно пытался разучить, и руки его с вспухшими синими жилами, как я позже узнал, венами, с быстротой ласточек забегали, запорхали по клавиатуре, какой-то сладкий комок подступил к моему горлу, и на глазах моих, наверное, даже навернулись слезы, — он был небольшого роста, сухощавый, подвижный и умер еще до войны от сердечного приступа даже, кажется, прямо на улице, еще раньше моего дедушки, наверное, от своего излишнего сластолюбия, а сын его, мой одноклассник, родившийся от последней его жены, простой женщины, пухлой, с круглым лицом, о которой у нас в доме говорили, что она похожа на кухарку или домработницу, — ее даже, кажется, не принимали у нас в доме, а может быть, он и сам не брал ее с собой в гости, — так вот, сын их, одноклассник мой, был, как и отец его, тоже какой-то подвижный и озорной, обладал по наследству хорошим слухом, но презрительно относился к музыке, плохо учился и из седьмого или восьмого класса ушел в авиационное училище, а потом после войны я несколько раз встречался с ним, — он, как и отец, был небольшого роста, подстрижен под машинку, чтобы меньше выступала плешь на его темени, говорил быстро и много и очень гладко и уже успел развестись, жениться и обзавестись детьми от второго брака, но жаловался, что у него барахлило сердце, и поэтому он не летал, а работал не то диспетчером, не то штурманом в аэропорту города, в котором мы когда-то жили, и, узнав, что я был там проездом, вернее, пролетом, вышел ко мне в зал ожидания и потом проводил меня до самого самолета, так что нас пропустили даже без очереди, а пассажиры, ожидавшие выхода на посадку, почтительно посторонились, когда мы проходили к железной калитке, ведущей на летное поле, — он шел рядом со мной, небольшого роста, в форме работника гражданской авиации, с непонятными для меня знаками на петлицах, держа в руке голубую форменную фуражку с золотистой эмблемой — с сероватым лицом, с плешью, что-то быстро говоря мне — кажется, о том, что ему надоела эта работа и он устал и послал бы все это к черту, вставляя при этом нецензурные слова, но как-то особенно, не выделяя их, а употребляя их как один из неотъемлемых элементов

---

\* В ранних вариантах романа «Бесы» Ставрогин фигурирует под именем Князя, Князем называет Ставрогина также жена его, Хромоножка. — *Примеч. авт.*

своей речи, — в детстве наши семьи летом жили в соседних дачах, и он тогда уже влезал на забор и кричал: «Аллилуйя, хрен тебе в голову!» — впрочем, это рассказывала моя мама много лет спустя после того, как мы жили на даче, да и сейчас вспоминает об этом, как только речь заходит об этом моем бывшем однокласснике, — Петр Верховенский семенил вслед за Ставрогиным, а потом даже, кажется, пытался схватить его за рукав, потому что ему надо было что-то вымолить у Ставрогина, но Князь, сверкнув в темноте своим демоническим взглядом, отшвырнул его в сторону, и точно так же отшвырнул он в сторону Федьку-каторжника, поджидавшего его на мосту в темную ненастную ночь, и так же дьявольски сверкнули его глаза и нож в руках Федьки, который хотел заколоть Князя, но Князь одним движением вырвал его из рук Федьки и милостиво вернул его Федьке — Князь возвращался из Заречья, из дома Лебядкина, после свидания с Хромоножкой, — через несколько дней, а может быть, даже уже и на завтра, среди ночи, во время скандального бала у губернатора, вспыхнуло пожаром это Заречье — не на месте тех ли мерцающих огоньков, которые я видел из окна вагона, располагалось оно, это Заречье? — и прямо с бала и изо всех мест города побежали люди на пожар — побежали толпами, как это всегда бывает при пожарах, и Ставрогин с Лизой, очередной жертвой своей холодно-расчетливой страсти, тоже прибыл на этот пожар — дом (уж не лебядкинский ли?) был объят пламенем, соседние дома тоже пылали, выстреливая раскаленными докрасна бревнами, из которых, словно бенгальские огни, рассыпались с сухим треском искры, — Ставрогин держал за руку Лизу, которая была бледна и, конечно, дрожала, несмотря на красные отсветы огня и жар, исходивший от пламени, — только что, за полчаса до этого, она отдалась Князю и, как все благородные девицы, дрожала после этого и была бледна — ах как, скрипя зубами, мечтал о таких победах автор и герой «Записок из подполья», и рассказчик из «Униженных и оскорбленных», и герой «Белых ночей», и, конечно же, Макар Девушкин, — пожар, эта мучительно-сладостная феерия, был почти контрапунктом романа, — а на подходах к этому контрапункту возвышался Собор, конечно же, на Соборной площади, и жид Лямшин подпускал мышь за стекло к иконе Казанской Божьей матери, вделанной в стену возле главного входа в Собор, предварительно разбив стекло, и на следующий день все благонаправленные граждане губернского города подходили к Собору, стояли подолгу и молча, осуждающе кивая головами, расходились, но молчали — вот ведь что важно, и в этом, наверное, сказывалась величайшая терпимость православия и даже, наверное, его мессианское предназначение, а жид Лямшин развлекал гостей, когда собирались «наши», — ловко играл на пианино, изображал гусей, свиней, разных почтенных людей, и даже, наверное, самого губернатора, и вообще кривлялся и строил из себя шута, а уже после пожара, в момент самого главного контрапункта — убийства Шатова в отдаленной сумрачной части ставрогинского парка в ненастный осенний вечер возле грота на берегу пруда, дико и истерически завизжал, а потом весь следующий день трясся от страха, не вылезая из-под одеяла, изображая из себя больного, притворяясь и рассчитывая как бы обмануть, — фигура вчера еще ссыльного, только что вернувшегося из Семипалатинска, с нафабранными усиками и с развевающимися полами сюртука металась из стороны в сторону, хватаясь за фалды и петлицы мундиров и фраков со звездами, умоляя, заклиная, требуя, расставляя хитрые ловушки, чтобы получить право жительства в Петербурге и продолжить свою литературную карьеру, — я был возле этого грота, который помещается, однако, не в Твери, а в Москве, на территории бывшей Петровско-Разумовской, а ныне — Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, на берегу пруда, точнее, озера, или даже, скорей, искусственного водоема, потому что теперь там целая серия таких озер с вышками для прыжков в воду, с лодочными станциями и с лодками, бороздящими в разных направлениях эти озера, с деланно веселыми и хриплыми криками, несущимися с

этих лодок, в которых прогуливается, развлекается или просто загорает молодежь Тимирязевского района столицы, — среди летнего дня неожиданно набежала, напозла темно-фиолетовая туча, подул ветер, и лодки сразу же стали причаливать к лодочным станциям, а загоравшие стали одеваться и торопиться домой, и крыша грота, на которой какие-то орущие подростки играли в мяч, тоже опустела, — грот был с колоннами и с железной решеткой, чтобы нельзя было зайти туда внутрь, но в глубине грота, в темноте, достаточно ясно проглядывались следы человеческого пребывания — решетка не помогала, а обе скошенные части грота были посыпаны крупным щебнем, чтобы придать гроту большую декоративность, — стало почти темно, как вечером, и мне даже показалось, что я слышу, как шумят верхушки деревьев, как это было в тот осенний вечер, когда убивали Шатова и Лямшин бился в истерике, в ужасе хватаясь за одежду окружавших убитого людей и испуская страшный крик, так что его пришлось связать и всунуть в рот какой-то кляп, — упали первые капли дождя, фиолетовую тучу прорезала молния, громыхнул гром, и я уже тоже бежал по аллее парка, скорее к выходу, чтобы успеть спрятаться от надвигающейся грозы, — наверное, в каком-то из этих двух или трех зданий с колоннами, задней стороной обращенных в парк, а фасадом выходящих на улицу, жил брат Анны Григорьевны, студент Петровско-Разумовской академии, — она побывала у него здесь в один из тех дней, которые они провели с мужем в Москве, сразу же после свадьбы, остановившись в гостинице Дюссо, по вечерам приезжая к сестре мужа, жившей на Старой Басманной, когда Анна Григорьевна сидела на стуле, опустив глаза, и с преувеличенным старанием разглаживала складки на своей юбке, и мачта, за которую она ухватилась, казалось ей, выскальзывала из ее рук, — брат ее, согласно ее же описанию, имел открытую, располагающую наружность — молодой, румяный, белокурый, веселый — словом, этакая русская кровь с молоком, — она засиделась у него дольше положенного времени, потому что в комнату, где он жил, непрерывно входили студенты, новые и новые, интересуясь женой автора «Преступления и наказания» — по крайней мере, так она рассказывает, — и половой вносил один самовар за другим, а Федя в это время стоял на перекрестке улиц возле гостиницы Дюссо и в темноте зимнего вечера, который уже наступил, пока она сидела у брата, всматривался в женские фигуры и лица, пронесившиеся на извозчичьих пролетках, — так и осталось непонятным, видел он когда-нибудь этот грот или нет? — поезд давно уже шел, оставив где-то позади мерцающие в снежной мгле огни Калинина, наращивая вместе со скоростью бортовую качку — из стороны в сторону, так что книгу приходилось придерживать, чтобы она не сползала, — там, в книге, тоже шел поезд с никогда не виданными мною вагонами — низкими, — вроде тех заграничных, которые ходят до Будапешта или Белграда, с надписью: «Vagon letti», но не цельнометаллическими, а деревянными, с множеством дверей, каждая из которых ведет в отдельное купе или отделение, с двумя мягкими, покрытыми плюшем скамьями, расположенными друг против друга, на которых, плавно покачиваясь в такт движения поршня в машине, бегущей со скоростью тройки почтовых лошадей, по трое на каждой скамье сидят господа и дамы с круглыми картонными коробками на коленях и с саквояжами в сетках — мужчины в цилиндрах и с тростями, дамы в высоких широкополых шляпах с перьями, с вуалью, закрывающей их лица, и в дорожных мантильях, — пока Федя на секунду отлучился куда-то, на его место сел какой-то немец, Fritz, — он ехал со своей сестрой, старушкой, и был к ней очень трогателен, но места не хотел уступить, потому что, утверждал он, Федя положил свои вещи не на сиденье, как следовало, чтобы место считалось занятым, а наверх, на сетку, — вернулся Федя и объявил, что своего места не уступит, но пока что сел возле окна на место старушки, которое почему-то оказалось не занятым (может быть, старушка вышла?), — вызвали кондуктора, немец стал красным, как все немцы, когда они начинают злиться или

дуться, и сказал, что это «Recht» и что он своего места не уступит, но потом почему-то оказался на другом месте, рядом с Анной Григорьевной, но стал так толкаться, что они снова все как-то пересели так, что в конце концов все остались довольны. Достоевские ехали из Дрездена в Баден, где Федя собирался выиграть на рулетке большую сумму, чтобы расплатиться с долгами, — он уже и до этого уезжал из Дрездена в Homburg, оставив Анну Григорьевну на попечение M-me Zimmerman, которая даже однажды поехала с Анной Григорьевной на пароходе по Эльбе, но Анна Григорьевна бродила все больше одна, осматривала развалины старинных замков и по несколько раз в день бегала на почту и на машину, но Федя все не ехал и писал, что еще задерживается на день и просил прислать денег, — она ходила еще легко, хотя ее уже тошнило, и перед самым отъездом его они, перед тем, как начать плавание, говорили о будущем Мише или о будущей Соне — это уже было решено окончательно, а накануне его приезда из Homburg'a она нечаянно (а может быть, не нечаянно) вскрыла адресованное ему письмо от той, с которой несколько лет назад он уже побывал в этих местах, а потом в Италии и в Париже, и тоже играл на рулетке, и именем той женщины была названа главная героиня «Игрока», романа, который он диктовал ей тогда, в первый месяц их знакомства, — она старалась писать как можно быстрее, а потом вечером, у себя дома, засиживаясь до поздней ночи, переписывала все это, чтобы он мог назавтра прочесть — нужно было успеть сделать все до конца месяца, чтобы не попасть в кабалу к Стелловскому, и, благодаря ее помощи, он сделал все вовремя и избежал этой кабалы, — мадемуазель Полина была, конечно, недостижимой женщиной, в особенности же отличалась она своими аристократическими манерами и этим умением не замечать, и какой-то уязвленной, болезненной гордостью, и сильным характером, а у Анны Григорьевны ломались карандаши, и она чувствовала, что краснела, когда он взглядывал на нее, и неловко поправляла оборки на своей почти гимназической юбке, и голос у нее садился, когда она спрашивала его о чем-нибудь, а в кабинет в это время заглядывал пасынок, небрежно одетый, с голой грудью, открывающейся из-под не свежей рубахи, какой-то весь засаленный, со своей наглой усмешкой, а Полина в это время витала где-то в страшной недостижимой высоте, и он стоял перед ней на коленях, и готов был целовать следы от ее ботинок, и вот теперь она снова появилась, но уже не в романе, а настоящая, живая, со своим почерком, до этого неизвестным ей, Анне Григорьевне, и она снова почувствовала, как мяч выскальзывает из ее рук, — она шагала взад и вперед по комнате, приложив руки к вискам, словно у нее была мигрень или ей нужно было неотложно решить какую-то задачу, — в письме та назвала ее, Анну Григорьевну, Брылкиной, хотя ее фамилия была Сниткина, и в этом близком буквосочетании было что-то особенно обидное и презрительное, как будто на свете существовала одна Полина — одна, главная, а Анна Григорьевна оказалась какой-то помехой на ее пути, да к тому же еще какой-то мелкой, даже не заслуживающей серьезного упоминания, что-то вроде грязной лужицы или небольшого болотца, которое можно легко обойти, — она положила письмо на его стол, среди прочих писем, словно оно значило не более, чем другие, и когда она, наконец, встретила его на вокзале, и они пошли домой, и он осторожно вел ее под руку и оглядывал ее внимательным взглядом, словно выискивая в ней какие-либо перемены, которые могли бы произойти с ней за время его отсутствия, — пока они шли вот так, шагая в ногу, и он нес свой дорожный саквояж, и лицо его было покрыто угольной пылью после дороги, и воротничок и манишка тоже, и она думала о том, как они сейчас придут домой и она займется стиркой и глажкой его белья, — пока они вот так шли, она как-то забыла об этом письме, но когда он сел за свой письменный стол и начал разбирать письма, она прижалась спиной к дверному косяку и обхватила его сзади руками, словно удерживаясь, чтобы не свалиться, — она должна была видеть своими глазами, как он прочтет это, —

он развернул это письмо и сразу весь как-то подался вперед — он приехал в Париж и тут же поехал к ней в отель — она вышла к нему со своей тяжелой темно-русой косой, обвивавшей ее голову, в длинном платье, и он упал к ее ногам, потому что он уже по глазам ее увидел, что что-то произошло, и она ему объявила, как это делают только в романах, что она полюбила другого, и этот другой был красавец-испанец, каких рисуют на обложках модных журналов, с иссиня-черными волосами, рассыпающимися по плечам, с синими глазами и с ослепительно белыми зубами, какой-то бесившийся с жиру аристократ, а попросту говоря, обыкновенный жуир, который уже успел бросить ее, но он был готов на все и умолил ее поехать вместе с ним — они жили в отелях в соседних комнатах, ехали рядом в поезде, занимали одну каюту на пароходе, но они дали друг другу клятву, что будут только друзьями, — вернее, он сам предложил это, иначе она бы не согласилась ехать с ним, предложил, заранее понимая абсурдность этого и смутно, в глубине души, надеясь и веря во что-то иное, и это иное, ничем, однако, не разрешившееся, проступало в его снах — ему снилось, что они плыли куда-то далеко к синему горизонту, мерно и ритмично вскидывая руки, дыша одним дыханием — его вдох был ее вдохом, но, проснувшись, он видел себя сидящим на берегу, в неудобной позе, а ее вообще не было видно — то ли она скрылась где-то за горизонтом, то ли вообще не входила в воду, — он вбегал к ней в номер, без стука, в надежде на что-то — она встречала его в утреннем пеньюаре и милостиво, как королева, протягивала ему руку — постель ее была еще не убрана, и, на секунду закрыв глаза, он снова воображал себя плавающим с ней, но безжалостное итальянское солнце прорывалось сквозь неплотно задернутые драпри, и с улицы слышались бойкие голоса торговцев и стук экипажей — утро заканчивалось ничем, а впереди предстоял день, полный того же безжалостного солнца, но еще мучительнее были путешествия в одной каюте, когда ночью, проснувшись после своих сновидений, он различал в предрассветном сумраке контуры ее тела, обрисовывающиеся под легким пуховым одеялом, — однажды, накинув на себя халат, он присел к ней — она приподнялась, вся купаясь в своих волосах, и стала отталкивать его, а он припал к одеялу, покрывавшему ее колени, и стал целовать одеяло, тогда она сказала, что крикнет прислугу, и он как-то сполз, даже скорей осел на ковер, рядом с ее диваном — пароход чуть покачивало, и через иллюминатор доносились крики чаек, — на палубе и в ресторане их принимали за путешествующих любовников — он стал целовать край простыни, спускавшийся с постели, — «Вы с ума сошли!» — крикнула она ему, — она сидела, откинувшись на спинку дивана, с рассыпавшимися волосами, широко раскрытыми от испуга глазами чем-то напоминающая княжну Тараканову, как будто сейчас в каюту должна была хлынуть вода, — уловив страх в ее глазах, он стал целовать ковер, лежавший на полу, — теперь все словно уже катилось под гору и остановиться было невозможно, и от этого паденья только дух захватывало — она должна была пройти по нему — он требовал только этого, потому что катиться вниз уж нужно было до конца, — он видел себя со стороны — лежащий ночью на полу каюты в халате, ничком, уже немолодой человек с закипавшей на губах пеной — впрочем, не терял ли он на секунду сознания, потому что откуда могла быть эта пена? — руки его, державшие письмо, немножко дрожали, когда он читал строки, написанные ее рукой, — Анна Григорьевна до боли в пальцах сжимала позади себя дверной косяк; и ей казалось, что комната сейчас пошатнется, и она упадет, — поезд бежал по узкой колее, прихотливо изгибающейся между круглыми холмами, покрытыми темно-зеленым лесом из буков, вязов и других деревьев, свойственных среднегерманским широтам и возвышенностям — Шварцвальдам, Тюрингенам или, может быть, каким-нибудь другим горам, — игрушечный поезд из маленьких вагончиков такого же игрушечного паровоза с красными спицами на колесах и с длинной трубой — сейчас такие паровозы изображают на марках специальной серии, посвя-

щенной истории паровозостроения, — и в одном из вагонов этой почти детской железной дороги в отделении второго класса ехал уже немолодой человек, одетый в темный костюм берлинского покроя, с простоватым русским лицом, с залысынами и с серовато-русой бородой, рядом с ним молоденькая женщина, чем-то похожая на курсистку, но с тяжелым исподлобья взглядом, в шляпке и в дорожной мантильке, с картонной коробкой на коленях — иногда она засыпала, вернее, задремывала, склонив голову на плечо мужа, и тогда он, скосив глаза, внимательно и недоверчиво поглядывал на ее лицо, словно стараясь в нем что-то прочесть, — недавно я видел его на выставке картин одного популярного художника, он был изображен в верхнем левом углу картины, возле которой стояло особенно много народу, так что нижняя часть картины была от меня закрыта, но потом я все-таки протиснулся вперед и увидел то, что ожидал увидеть по рассказам уже видевших эту картину: три жирных борова, розовых и в то же время каких-то плакатных, потому что именно таких рисуют на какой-нибудь картине, посвященной передовым людям свинофермы, а чуть подалее свиней, вернее повыше, лежал какой-то не то обезглавленный, не то окровавленный труп, а еще повыше, так что это уже можно было видеть издалека, не протискиваясь вперед, стоял длинный стол, несущий на себе остатки пиршества, с кубками, наполненными тяжелой красной жидкостью, которая, наверное, должна была обозначать кровь, и еще повыше, но уже левее, то есть уже поближе к автору «Бесов», перед чернявым мужчиной, представлявшим собой странный гибрид ударника производства и мужика от сохи, на коленях стоял юноша без рубашки, в одних джинсах и босой, и тоже с лицом какого-то не то передовика, не то мужика, а наверху слева за полукруглой чертой, долженствующей, по-видимому, обозначать нечто вроде нимба, который рисуют обычно вокруг святых, за этой чертой тесной кучкой столпились российские имени-ности: Ломоносов и Петр I в париках, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, еще кто-то, и среди них — автор «Бесов» — все какие-то бесплотные, с бледными лицами, словно сошедшие со страниц школьных учебников, — картина называлась: «Возвращение блудного сына», и рядом с ней висела небольшая табличка, на которой во избежание кривотолков крупным шрифтом объяснялось, что хотел выразить художник в своем произведении, — толпа осаждала эту картину, занимавшую полстены, так что скорей это была уже не картина, а целое полотно, почти как «Явление Христа народу», а позади толпы ходило несколько человек с простыми лицами — из тех, что забивают козла, — один из них даже, кажется, под хмельком, с оттопыренным карманом, в котором у него, наверное, была припрятана поллитровка, — он заговаривал со всеми, размахивал руками, тыкал пальцем в сторону картины, — глядя на пятки преклонившегося в джинсах, передо мной невольно всплывали пятки стоявшего на коленях перед отцом рембрандтовского блудного сына — огромные, размытые, являющиеся средоточием картины, — поезд игрушечной железной дороги, окутанный клубами дыма, который выходил из длинной трубы машины, тем временем продолжал свой извилистый путь между Шварцвальдами и Тюрингенами — его вполне можно было взять в руки со всеми его вагончиками и пассажирами, как это делал Гулливер с лилипутами, и пустить этих человечков ходить по столу, а потом забавляться, слегка дуя на них, как на свечку, которую хочешь погасить, — как бы они заметались от этого урагана — как муравьи, когда в муравейник пихаешь какую-нибудь палку или даже просто спичку, — просыпаясь и глядя в окно, Анна Григорьевна видела покрытые темно-зеленой растительностью холмы и горы, на вершине или на уступе которых белели, краснели или розовели, в зависимости от цвета камня, времени дня и освещения, бывшие рыцарские замки с зубчатыми башнями — именно такими она себе и представляла их по картинам, висевшим у них в гостиной, а из темного леса, покрывающего склоны гор, выходили сказочные тролли, игравшие на свирелях, и от склона к склону разноси-

лись тирольские песни — «А-лю-лю! а-лю-лю!» — трехтактные, с ударением на третьем такте, с переливами и повторами, словно эхо в горах, а у подножия холмов текли мирные немецкие речки, на берегу которых паслись тучные стада коров и овец, проплывали города с краснокирпичными островерхими домами и готическими башнями — по улицам этих городов, не торопясь, прогуливались горожане, стуча тяжелыми ботинками с бантами по клинкеру, — несколько раз Анна Григорьевна и Федя пересеживались с поезда на поезд — то днем, то ночью, — Федя провожал Анну Григорьевну в дамскую комнату, потому что ее тошнило и один раз даже вырвало, — Лейпциг, Варсбург, Франкфурт — во Франкфурте они остановились в какой-то гостинице в двух шагах от станции и спросили себе телячьих котлет и бульону, а потом пошли осматривать город, — они вошли в Langestraße, которая начиналась большой аллеей деревьев с белыми цветами, — какой-то немец на их вопрос объяснил им, что это белая акация, — Анна Григорьевна впервые видела белую акацию в цвету, и она ей очень понравилась, — затем они попали на большую улицу вроде Невского проспекта с множеством магазинов, они купили «Колокол» Герцена, но взяли с них ужасно дорого — 54 крейцера, а потом Федя купил себе галстук, — вначале он выбрал розовый с колечками, но потом переменял мнение и взял синий с точечками, который стоил 3 флорина и 15 крейцеров, но для Анны Григорьевны подходящего галстучка в этом магазине не оказалось, потому что были или очень узкие, или широкие, или вообще нехорошие, а в другом магазине они смотрели очень миленькие шляпки, потому что Федя все время твердил, что Анне Григорьевне необходима новая шляпка, — они вышли на какую-то длинную и жаркую улицу, почти пустынную в этот час, с окнами, которые почти все были заперты ставнями, так что город казался мертвым, затем пошли какими-то боковыми улицами и вышли на набережную Майна, который был опять-таки удивительно похож на тот Майн, который был изображен на картине, висевшей в гостиной в доме Анны Григорьевны, — вернувшись на улицу, похожую на Невский, они снова зашли в какой-то магазин, где Анна Григорьевна купила себе лиловый галстук за 2 флорина 12 крейцеров, а потом примерила одну шляпку, соломенную, с лиловым бархатом, очень миленькую, приглянувшуюся ей раньше, когда они еще в первый раз проходили по этой улице мимо этого магазина, но тогда она не осмелилась попросить Федю зайти сюда, потому что он все время куда-то торопился, — оказалось, что эта шляпа стоила 20 флоринов — просто чудовищная цена сравнительно с Дрезденом — несмотря на это, Федя раскланялся и пожелал, чтобы француженка, показывавшая шляпы, продала им эту шляпу, потому что она, наверное, принимает их за варваров, за диких, на что она дерзко ответила, что видно, что они вовсе не дикие, и несколько раз ломаным языком сказала «хорошо», чем окончательно рассердила Федю и вызвала его резкий ответ, — так и не купив шляпу, они вышли из магазина и снова пошли по улицам, затем зашли в магазин цветов и долго выбирали розы, потому что все они были какие-то нехорошие, — в конце концов, они купили все же две розы по 18 крейцеров за каждую, а потом вишни — по 6 крейцеров за фунт — через сто лет с небольшим в аэропорт этого же города под охраной восьми штатских с пистолетами в задних карманах, на самолете Аэрофлота, задержавшем свой очередной рейс на два часа из-за затянувшихся телефонных переговоров, которые шли между управлением Лефортовской тюрьмы, зданием на Лубянке, аэропортом и дипломатическими представителями в Бонне, на самолете этой линии в аэропорт этого же города прибыл человек среднего роста в вятской дубленке с бородой, явно старившей его, и с двумя продольными горестными морщинами, прорезавшими его лоб, хорошей еще шевелюрой, держа в руках меховую шапку-ушанку, — он спускался по трапу в сопровождении охраны, словно глава государства, а внизу почтительным полукругом столпились фото-, теле-, кино- и просто корреспонденты, и уже щелкали и жуж-

жали камеры, а когда он спустился вниз и ступил на асфальт, вся эта толпа плотно сомкнулась вокруг него, и еще ожесточеннее защелкали и зажужжали камеры, а те, кто оказался в задних рядах, стали поднимать свои аппараты и, держа их на вытянутой руке, продолжали ими щелкать и жужжать, — охрана вернулась в самолет, а через с трудом расступившуюся толпу навстречу прибывшему гостю прошел одетый в элегантное светло-серое пальто известный немецкий писатель, и вот уже вдвоем они ехали в длинном черном лимузине, принадлежавшем немецкому писателю, по широкой автостраде, ведущей к городу на Майне, по набережной которого только что бродили русский писатель с женой, выехавшие из Петербурга в середине апреля 1867 года, а через несколько дней важному гостю, которому предстояло гостить за границей вечно, доставили на самолете его жену — молодую женщину с двумя детьми — она была намного моложе его и, просыпаясь ночью на вилле немецкого писателя, русский гость в первую минуту по уже установившейся привычке протягивал руку, чтобы обнять жену, но вместо нее странная пустота оказывалась рядом с ним, — она была где-то там, далеко от него, и он видел, как ей выламывали руки, требуя от нее признания, но она скорей готова была пойти на другое, более страшное, и от одной мысли о возможности этого, другого, у него начинало колотиться сердце — перевернув подушку на другую сторону, чтобы охладить свое горящее лицо, и ожесточенно подмяв ее под себя, он снова погружался в сон, но какой-то насильственный, словно под наркозом, и сквозь этот сон проступали ее руки, как она закидывала их вокруг его шеи, и ее улыбка, когда она, откинув голову с тяжелыми волосами, смотрела на него, чуть щуря свои глаза с длинными ресницами, — точно так же, много лет назад, засыпая на нарах, он видел лицо другой, и когда однажды ей разрешили приехать к нему, и он сидел с ней в караулке, а рядом нетерпеливо расхаживал охранник, и он держал ее за обе руки, ему показалось, что это был сон, настолько это было неправдоподобно после стольких настоящих снов, и все эти годы, пока он был там, она ходила по инстанциям, и хлопотала, и простаивала в очередях, чтобы попасть на прием, но когда он вернулся, она уже показалась ему не такой, какой он ее видел в своих снах и во время этого единственного свидания — кожа ее вокруг глаз стала морщинистой, и в волосах появились седые пряди, и когда он целовал ее, то даже закрыв глаза, он видел эти ее морщины и седые волосы, и на улице взгляд его невольно останавливался на молодых женщинах, и, помимо его воли, он провожал их этим долгим взглядом, и некоторые из них чуть замедляли шаги и тоже оглядывались, и, кроме того, она считала, что он должен устроить свою жизнь по-иному, и в это время появилась эта женщина со своим сладковатым прищуром глаз и с густыми, рассыпающимися по плечам волосами — вся она была какой-то необыкновенно легкой, невесомой, и эта ее невесомость передалась его телу — он с какой-то уже, казалось, навсегда утерянной легкостью вскакивал теперь на подножку трамвая или автобуса и, работая, он ощущал эту же легкость, и слова сами приходили собой, точные и разящие, — постаревшая женщина с седыми волосами оказалась в больнице — врачи, смущенно покашливая и отводя взгляд куда-то в сторону, говорили, что это у нее что-то возрастное и преходящее, — она ходила быстрыми шагами по длинному больничному коридору из конца в конец, от одного окна, покрытого деревянной решеткой, к другому, одетая в такой же, как у остальных халат, и ей казалось, что все знают, и видят, и понимают, отчего она попала сюда, — он продолжал выступать, призывать, обличать, заклинать, письменно и устно, и эти обличения и заклинания стали еще ожесточенней и непримиримей, потому что жертва должна была чем-то окупиться, и он обязан был использовать до конца ту внутреннюю свободу, которую обрел ценой этой жертвы, — ярость его обличений и заклинаний, казалось, призвана была заглушить его боль — проповедуя и обличая, он часто ссылался на русского писателя, который только что со своей женой прогуливался по

набережной Майна, — между прочим, одна из мыслей этого русского писателя XIX века заключалась в том, что нельзя строить счастье, даже всеобщечеловеческое, на страдании других, даже на одной жизни, на одной загубленной жизни, особенно детской, — дети с протянутыми руками, дрожащие от сырого петербургского тумана где-нибудь возле Вознесенского моста или на Гороховой, особенно девочки, нищие, избитые или обесчещенные, выплывали откуда-то из темноты, словно на эскалаторе, на миг подсвечиваемые театральным прожектором, чтобы снова скрыться во мраке, заменившись новой такой же фигуркой, еще более униженной и гордой, и поэтому еще более бестрепетно или трепетно готовой отдать себя на поругание, — эта Нелли, высвобожденная рассказчиком от бесчестной хозяйки, собиравшейся продать ее какому-то сластолюбцу, и живущая теперь в одной комнате с рассказчиком, в соблазнительной близости с ним, эта Неточка, сирота, болезненно влюбленная сначала в своего отчима, затем в Катю, нежащаяся с ней в постели, так что на Катином месте представляешь себе неКатю, эти девочки из лондонского (на сей раз не петербургского) тумана из «Зимних заметок о летних впечатлениях», протягивающие свои грязненькие ручки к прохожим, чтобы только их взяли; то Матреша из грязного петербургского угла, насильно взятая Ставрогиным и затем повесившаяся и снова привидевшаяся Ставрогину на какой-то фотографии в одном из магазинов Франкфурта-на-Майне, по которому недавно бродили супруги Достоевские, эта девочка в гробу, привидевшаяся Свидригайлову в гостинице в ночь накануне самоубийства, тоже обесчещенная — уж не Свидригайловым ли? — этим полу-Ставрогиным, этой еще наполовину только воплощенной мечтой-антитезой своего создателя, и затем утопившаяся, — все эти девочки-подростки, эти замарашки из грязных углов, вплоть до полоумной Лизаветы Смердящей, с которой грех был, наверное, особенно сладок, ибо чем беспомощнее жертва, тем острее наслаждение, которое получаешь, а грязнота делает все это еще более пикантным, — все эти девочки-подростки, эти «нимфетки», более откровенно воспетые Набоковым в его «Лолите», не для того ли явились они на свет божий из авторского подполья, чтобы освободить совесть своего создателя от чего-то страшного и тайного? — и не оттого ли и силен так пафос обличения, что призван заглушить в себе иные чувства? — за окном вагона сквозь не рассеявшийся еще утренний туман появились окрестности Бадена, — Анна Григорьевна дремала, склонив голову на плечо мужу, — он, скосив глаза, всматривался в ее лицо пристально и недоверчиво — неужели эта женщина действительно любила его? — когда он увидел ее у себя дома, в первый раз, ему показалось невероятным, что эта молодая девушка, почти еще гимназистка, с нетронутым и свежим лицом, чуть раздумавшимся после улицы, может остаться у него в доме навсегда, стать его женой, и он будет иметь право всегда, в любой момент, подходить к ней и целовать ее в затылок, в то место, где у нее были забраны вверх волосы, но сама мысль о том, что она может стать его женой, пришла ему в голову почему-то с самого первого раза, когда она сидела в его кабинете за круглым столиком, прилежно, чуть склонив голову набок, стенографируя то, что он говорил своим глуховатым голосом, — в тот день он держал себя с ней нарочито резко и сухо, чтобы не дать почувствовать ей той власти над ним, которую она уже обрела, но когда он, диктуя ей, представлял себе, как стоит перед ней на коленях при колеблющемся свете догорающей свечи и целует ее ноги, а она не собирается никуда уходить, потому что она его жена, и он сейчас задует свечу, и они пустятся в страшное и сладкое плавание, голос его становился хриплым, и он закрывал глаза, чтобы не видеть перед собой этой гимназистки или курсистки, как он нарочно старался о ней думать, чтобы не давать ходу своему воображению, потому что курсистки были то же самое что семинаристы, — неужели она действительно любила его? — иногда ему казалось, что она просто притворяется, — уж не имя ли его привлекло ее? — когда он

целился в Дрездене в тире, она стояла рядом и чуть улыбалась — она думала, что он не попадет, и даже сказала ему: «Не попадешь», — а до него стрелял какой-то немец, все время попадавший в кружочек, что заставляло подниматься из-под пола железного турка, — и она с восхищением смотрела на то, как стрелял этот немец, и немец тоже бросал на нее многозначительные взгляды, а ему она сказала: «Не попадешь», — но он попал с первого же раза, ей назло, и железный турок в раскрашенной феске выскочил из-под пола, точно так же как у того немца, и он, торжествуя поворачившись к ней, громко сказал, почти крикнул: «Что? попал?» — и после каждого выстрела, достигавшего цели, он снова и снова оборачивался к ней и кричал: «Ну, что?», — так что на них уже даже стали оглядываться, и выражение ее лица после каждого его удачного выстрела и торжествующего восклицания становилось каким-то все более испуганным и жалким, и это еще более раззадоривало его, и он еще громче выкрикивал свое «Что?» — вокруг них уже собрались, и лицо ее, когда он к ней поворачивался, чтобы бросить свое торжествующее: «Что?» — стало некрасивым, и даже какая-то желтизна проступила на ее лбу — в эти минуты ему хотелось, чтобы она поскорее состарилась и стала вот такой некрасивой, и мужчины, вроде того немца, перестали бы поглядывать на нее, и она потеряла бы свою власть над ним, — в письмах к своим родным она, наверное, подсмеивалась над ним и даже, может быть, рассказывала что-нибудь гадкое об их плавании, — иногда она притворялась, что не спит, но он знал, что она спала — уже по одному звуку ее голоса — неужели нельзя было посидеть вот эти вечерние полчаса рядом с ним, когда ему так хорошо думалось, посидеть возле его стола? — она обязательно уходила в другую комнату, и он наверняка знал, что она спала, но когда он входил к ней и начинал трясти ее за плечи, чтобы она проснулась, она начинала уверять его, что не спала, хотя глаза ее еще слипались, и эта явная ложь больше всего бесила его — она просто не хотела сидеть с ним, зато как она оживленно беседовала с мадам Zimmermann, этой пустоголовой и болтливой немкой, о разных кружевах и прочих пустяках — однажды, после того как он ее в очередной раз уличил, что она спала, а она, как всегда, притворялась, что не спит, она все-таки пришла к нему в кабинет и села рядом с его письменным столом — он не смотрел на нее, но чувствовал, что глаза ее слипаются, и она преодолевает себя — ему не нужно было ее одолжений — за окном, цокая по клинкеру подковами, проехал извозчик, где-то там, вдали, за островерхими крышами краснокирпичных домов, садилось солнце — мысль его то и дело сбивалась на что-то постороннее, и ему казалось, что этим посторонним была она, сидевшая с ним не по своей воле, а по принуждению, и тогда, вскочив со стула, он закричал ей, что она сидит с ним из мщенья, специально чтобы досадить ему, и чем более понимал он абсурдность этого обвинения, тем запальчивее кричал — пусть все слышат это и, в первую очередь, эта мадам Zimmermann, с которой она так близка, ее приятельница, ее подруга! — он резко отодвинул стул ногой и стал искать гильзы для набивки табаком, руки его дрожали. Закрыв лицо ладонями, Анна Григорьевна убежала из комнаты — он яростно перебрасывал лежавшие на столе бумаги и книги и выдвигал ящики — гильз не было, хотя он помнил, что положил их на стол, ближе к правому краю, чтобы они всегда были под рукой — может быть, она знала, где гильзы? — он побежал вслед за ней в комнату, понимая, что гильзы был лишь предлог, — она сидела на краю кровати, все так же, закрыв лицо руками, плечи ее сотрясались, — он встал перед ней на колени и силой отвел ее руки, — по лицу ее текли слезы, — он стал целовать ее руки и ее колени, — она притянула его голову к себе и неожиданно рассмеялась, — он высвободил голову из ее рук и вопросительно посмотрел ей в глаза, смеющиеся и еще мокрые от слез, — она сказала, что смеется оттого, что не может сонный человек отвечать за свои слова, а он именно требует этого от нее, — вечером, как всегда, он пришел проститься с ней — они опять заплыли очень далеко, так дале-

ко, что берег скрылся из глаз, как будто его и не было, — они плыли, ритмично дыша, то погружаясь в воду, то легко выталкиваясь из нее, чтобы набрать в легкие воздух, и когда, казалось, плаванию этому не будет конца, и они вот-вот оторвутся от воды и уже не поплывут, а полетят, словно чайки, свободно и легко паря над морем, он вдруг вспомнил ее смеющееся лицо — конечно же, она смеялась над ним, и какое-то встречное течение стало сбивать его в сторону, и рядом с ее лицом появилось одутловатое лицо плац-майора со свешивающимся в виде шара подбородком, словно шар этот напился кровью, как комариное брюхо, и рядом с этим надменно ослабившимся лицом появились еще лица — его знакомых и друзей, особенно женщин — той, с которой он находился в одной каюте, не смея прикоснуться к ней, и той самой первой женщины, которую он когда-то, еще в молодые годы, до своего ареста, увидел в салоне у Вильегорских, где собрались писатели, — она была так хороша собой, так немыслимо недосыгаема в своем длинном платье, шлейф которого неслышно следовал за ней, словно за королевой, со своими светлыми локонами, обрамлявшими ее лицо, так немыслимо недоступна со своим тонким запахом духов, что, когда она подала ему руку, чуть подзадержав в его руке, — так, что он понял, что она сделала это для того, чтобы он поцеловал ее руку, нежно белевшую в прорезе перчатки, он как-то странно покачнулся, даже чуть не упал — наверное, он потерял на несколько мгновений сознание — уж не первый ли предвестник его болезни случился с ним тогда? — и потом все бывшие там посмеивались над ним, и кто-то написал даже обидное четверостишие по его адресу, но она оставалась все так же серьезна и внимательна к нему и только перестала задерживать свою руку в его руке, но теперь и она смеялась, а те, бывшие тогда в гостиной, сейчас просто гоготали, самодовольные, лоснящиеся от сытости бездарности, перед которыми он тогда раскрывал свою душу, а они разносили это по всему Петербургу с шуточками и прибаутками — он же считал тогда, что они просто подхватывали его мысли и преклонялись перед ним, — теперь они просто гоготали, и вот он уже барахтался возле самого берега, а Аня плыла где-то далеко, почти у самого горизонта, там, где морская синева сливалась с такой же синевой неба, — все они, вместе с ней смеялись над ним, — оставив ее плывущей где-то за горизонтом, он набросил халат, вышел в другую комнату и, засветив свечу, уселся за свой письменный стол, подперев голову руками, — да, она была естественный враг его, в этом не было сомнения, и на следующий день, когда она, неосторожно подвинув стол с утренним кофе, больно задела его ножкой этого стола, он сказал ей, что она это сделала нарочно, и потом в последующие дни снова повторял ей, что она зла и нарочно делает ему неприятности, — лицо ее в эти минуты принимало жалкое и испуганное выражение, как тогда, в тире, и она уже не смела больше смеяться, а только опускала голову все ниже, словно пыталась скрыть от него свое лицо, а он становился перед ней на колени, обнимал ее ноги и просил простить его и, главное, не смеяться над ним, а потом, вскочив на ноги, раздосадованный своим унижением перед ней, он принимался быстро ходить по комнате из угла в угол по диагонали, опрокидывая ногой стулья, попадавшие ему на пути, и выкрикивая, что он все-таки достоин уважения, хотя у него нет денег, — она, еще ниже склонив голову и стиснув ее руками, словно у нее была мигрень, стояла неподвижно, с каменным выражением лица, которое почему-то сменяло собой испуг, — знакомые ему окрестности Бадена с домами и дачами медленно плыли за окном, но он по-прежнему внимательно и напряженно вглядывался в ее лицо — она спала, положив ему голову на его плечо, и на мгновение ему показалось, что на ее лбу и щеках снова выступает уже знакомый ему оттенок желтизны, который он тогда заметил у нее в тире, — она дышала спокойно и ровно — конечно же, ей нужен был сон, и желтизна ее тоже, наверное, происходила от будущего Миши или будущей Сони — как он раньше не понял этого? — он погладил ее по голове, и она проснулась, глядя на него

так, как смотрят только что проснувшиеся дети, — «Подъезжаем», — сказал он ей, — она увидела за окном вагона высокую гору, покрытую зеленью, сквозь которую проступали белые и краснокирпичные дома, и среди них готические башни соборов, а над всем этим темно-синее небо с плывущими по нему легкими облаками — именно таким она представляла себе этот город, но надо было готовиться к выходу и запаковать вещи, — он сидел, чуть откинувшись на спинку дивана, положив руки на колени, как это он делал во время фотографирования, и вглядывался в приближавшийся город — сквозь зелень садов, покрывавших склоны горы, он ясно увидел белое двухэтажное здание с готической крышей, окна его даже днем были занавешены тяжелыми бархатными портьерами, под потолком, в табачном дыму были зажжены огромные хрустальные люстры, освещая задрапированные зеленой материей залы, углы которых тонули во мраке, потому что из-за табачного дыма свет не достигал этих углов, а в середине каждой залы, центральной — большой и двух боковых — поменьше, стояли столы, тоже покрытые зеленым сукном, а вокруг столов — люди с желтыми от бессонницы лицами, — руки их тянулись к столам, где были рассыпаны золотые монеты, — они отсвечивали каким-то мерцающим красноватым цветом, как оклады икон в церкви во время богослужения, когда зажжены все свечи, и огни их колеблются в облаках ладана, — а в самом центре столов, над россыпью золота, возвышались диски, отливающие зеленовато-красным цветом, и это уже был алтарь или даже царские врата, потому что они были доступны только одному человеку с бесстрастным лицом, который спокойно колдовал над этими таинственными дисками с черными, как агат, и красными, как рубин, цифрами, среди которых метался, решая судьбу, неуловимый серебристый шарик, — недоступный, как мячик во время игры в Launtennis, — золотые монеты, рассыпанные по столу, стали сами по себе собираться в груды, словно чья-то невидимая рука принялась рассортировывать и складывать их, — сидящий в поезде человек со сложенными на коленях руками прикрыл веки — он выигрывал кучи этих золотых монет, но как только он протягивал руку, чтобы сгрести их себе, чьи-то чужие руки тянулись к ним и захватывали, загребали их — руки эти принадлежали людям с желтыми лицами, столпившимися вокруг стола, — и вдруг он понял, почему эти груды доставались им, — у них не было вершины, он пытался их взять прежде, чем они образуют форму треугольника, надо было дожидаться этой формы, этой вершины, и тогда эти деньги стали бы его собственностью, — он открыл глаза, когда поезд стал замедлять свой ход — за окном медленно проплыло и остановилось аккуратное краснокирпичное здание железнодорожной станции Бадена, — Анна Григорьевна, прильнув к окну, всматривалась в здание станции и в фигуры людей, фланирующих по платформе, словно их кто-то должен был встречать, — это был живой, настоящий Баден, и она уже видела себя гуляющей с мужем по главной улице Бадена — Lichtentaler Allee, — о которой она столько слышала, среди разодетых и расфранченных отдыхающих, сменив свою черную кружевную мантилью на пышное платье с оборками, потому что должно же было Феде наконец повезти.

\* \* \*

Они снова, как и в Дрездене, наняли комнаты у какой-то очередной немки, державшей пансион, со служанкой Marie, очень живой и смуглой девочкой, похожей на итальянку, — Анна Григорьевна считала, что ей лет четырнадцать, но оказалось, что восемнадцать, — такой на вид она была совершенный ребенок — веселая, хохотунья, с горластым на весь дом «Ja», но удивительно тупая, как, впрочем, все немцы и немки, — ни за что сразу не поймет, что ей скажут, да и замечай ей хоть раз сто одно и то же, она все-таки не станет замечать — к обеду никогда не приносит столовой ложки — удивительно тупая, — во дворе дома, в котором они поселились, помещалась

кузнечная мастерская, и с четырех утра там стучали молотом, а в соседних комнатах плакали какие-то дети, заливаясь и закатываясь, — и все же первые дни пребывания в Бадене были похожи на утро ясного летнего дня, когда торопишься куда-то, — ночью прошел дождь, все умыто: и зелень, и асфальт, и дома, и трамваи, красные, словно покрытые свежим лаком, — и ты идешь, торопишься куда-то в предвидении чего-то необычайного, счастливого, что непременно должно произойти сегодня, — так в юности, учась еще в институте, я выходил из здания больницы, в которой мы жили в первые годы после возвращения из эвакуации, потому что город, в который мы вернулись, был почти разрушен, и нам дали комнату при больнице, в которой работал отец, рядом с уборной и с ванной — мимо нашей комнаты, стуча костылями по каменному полу, — здание больницы было старое с капитальнейшими стенами и с закопченными сводчатыми потолками — до революции здесь помещалась не то еврейская больница для бедных, не то богадельня, — стуча костылями, мимо двери нашей комнаты ковыляли в уборную инвалиды Отечественной войны, волоча ногу в грязноватом гипсовом футляре, — утром, когда я, торопясь в институт, проходил по больничному саду, инвалиды уже прогуливались или сидели на скамейках за деревянными столами, скручивая козью ножку из газетной бумаги, куря или забивая козла, — я торопился к проходной, чтобы поскорее выйти на улицу, шедшую в гору, с сохранившимися лишь несколькими домами, между которыми располагались пустыри, поросшие травой и крапивой, с грудями старых кирпичей от некогда бывших здесь зданий, — медсестры и даже многие врачи здоровались со мной первыми, потому что мой отец был ведущим хирургом больницы, и сторож в проходной тоже первым здоровался со мной, а я уже шел по улице, торопясь вверх, туда, где ходили красные, лакированные трамваи, одиночные, редко попарно сцепленные вагоны, — улицы, по которым они ходили, могли быть названы улицами тоже весьма условно — по обе стороны от трамвайной колеи простирались засыпанные обломками кирпичей, поросшие крапивой пустыри, между которыми стояли чудом уцелевшие дома или просто коробки с оторванными, свисающими, слегка колеблемыми ветром лентами бывших обоев или торчащими где-то на высоте третьего этажа краном или выложенной кафелем голландской печкой, — быстрее к трамваю, — он вез меня в институт — расположенные на окраине города здания клиник, тоже уцелевшие, как и больница, в которой мы жили, — немцы специально пощадили здания больниц, чтобы использовать их для себя, — ветер врывается сквозь полуспущенное окно трамвая, я устраивался на сиденье возле окна, лицом вперед — моя любимая позиция в транспорте — наверное, впрочем, не у меня одного, — заглядывая вперед, прижимая лицо к стеклу, иногда даже привставая и выглядывая наружу, впрочем, весьма осмотрительно, чтобы в глаза не попала пыль или не стукнуло встречным телеграфным столбом, — в еще невидимом корпусе клиники, куда я торопился на занятия, в ординаторской или в коридоре вокруг ассистента тесным кружком собирались студенты и студентки в белых халатах, и среди них была та с золотистыми волосами, выбивающимися из-под колпачка, та единственная, которая у всех нас существует в эти годы, да и часто только в эти годы, та единственная, выдуманная и в то же время реальная с тонкими синими жилками на висках — поверхностно расположенными венами под нежной тонкой кожей, с ритмично сокращающимся сердцем, посылающим освеженную горячую кровь — горячую ли? — по эластическим, тонким артериям, еще не тронутым ни одной бляшкой, ни одной известковой песчинкой, — кровь, придающая коже и всему телу тот удивительный розовый цвет, который может быть назван телесным, цвет, под который пытаются подделать чулки, колготки — удивительно детское название «колготки» — совсем недавно я думал, что колготки что-то такое, что носят только дети, пока одна наша знакомая, жена восходящего тогда еще писателя, не рассказала, что обнаружила их в

постели у своего мужа — прямая улика, позволившая установить его неверность — и даже обои или абажуры, но все напрасно: только кожа молодой женщины обладает этим цветом, мысленно, находясь еще в трамвае, я стараюсь оказаться рядом с золотистоволосой студенткой, так чтобы волосы ее, выбивающиеся из-под колпачка щекотали мне щеку, — ах, впрочем, это только сейчас, на склоне лет мы становимся столь чувствительными к прикосновению женских волос и, сидя в транспорте, подставляем нашу щеку или лысеющую макушку под льющийся откуда-то сверху водопад женских волос, и чем случайнее это прикосновение, тем острее возникающее при этом ощущение блаженства, так что, нарочито подставляя свою кожу под этот водопад, мы стараемся уверить себя, что это соприкосновение случайно, и тем мучительнее вынужденное расставание с этим прохладным золотистым потоком, льющимся сверху, небрежно обтекающим плечи в замшевой куртке или в джинсовке и несущим заряд электронов к нашей стареющей коже, и ради этого таинственного заряда электронов, вовсе даже и не направленного к нам, а потому особенно желанного, мы утром, выходя из дома, тоже торопимся куда-то, полные предчувствия и предвидения чего-то необычайного, что должно произойти с нами, хотя в наши годы нам скорее следует ожидать закупорку сосудов в транспорте, но мы торопимся, насколько позволяют нам наше сердце, полнота и одышка, — первое время пребывания в Бадене Феде даже скорей везло, и кушак Анны Григорьевны, или, как она называет его в одном месте, «мешочек», в который к моменту приезда было зашито 80 монет, за несколько дней солидно пополнился и на десятый день уже содержал 180 монет, или 3000 франков. Федя курсировал между домом и вокзалом, где была рулетка, иногда по нескольку раз в день, то проигрывая, то выигрывая, но больше выигрывая, а проигрывая все больше случайно, когда его толкали во время ставки на rouge или noire, на pair или impair, или когда от кого-нибудь из толпившихся вокруг стола с зеленой материей слишком пахло духами, поскольку здесь редко встречались и дамы, или когда ему мешали какой-то поляк с полячком, мельтешившие перед ним, заслоняя красные цифры, на которые он хотел ставить, и из-за них поставил на черные и, конечно, проиграл, а иногда он брал с собой Анну Григорьевну, и тогда она мешала ему, он проигрывал из-за нее и сердился на нее, так что вскоре она сама решила, что не приносит ему счастья в игре и перестала с ним ходить в вокзал, хотя он требовал и сердился, почему она отказывается, — она стала совершать прогулки по Бадену и его окрестностям, сторонясь разодетых русских барынь, и все-таки однажды она решила выйти на Lichtentaler Allee, отправившись для этого на Lichtentaler Straße, но вышла почему-то совсем в другое место — к католическому мужскому монастырю, вошла во двор и, прогулявшись немного по двору, повернула домой, а раз она отправилась в какую-то дальнюю прогулку и, пройдя версты две или три и поднявшись по ступеням, вышла к Старому замку, а потом к Новому замку, и у входа в один из этих замков висел матовый фонарь, и Анне Григорьевне все это показалось необычайно красиво, но ей было немного страшновато заходить так далеко, потому что она боялась споткнуться и упасть, чтобы не выкинуть будущих Сонечку или Мишу, и, кроме того, Федя, наверное, ждал ее уже в аллее на скамейке под старым каштаном — уже издали, по одному его виду, она безошибочно угадывала, проиграл он или нет, — его черная шляпа лежала рядом с ним, на скамейке, лицо было бледно, руки его опирались на колени, как будто он собирался подняться, он беспокойно озирался, вглядываясь в фигуры людей, показывающихся вдалеке, в глубине аллеи? — ей иногда бывало просто смешно, как он не замечал ее, когда она подходила уже к самой скамейке, а он все искал ее взглядом где-то вдалеке, иногда отрывая руку от колена, чтобы стереть платком капельки пота, выступившие на его висках и зальсынах, тех самых глубоких зальсынах, которые помещались над его лобными буграми, столь тщательно и иногда даже преувеличенно

изображаемыми художниками, в особенности же скульпторами, — он смотрел на нее, но почему-то не видел, что это она, а все заглядывал куда-то вглубь аллеи, а она уже стояла подле него и почти смеялась — почти, потому что он мог принять это за насмешку, — «Я все проиграл», — говорил он ей, поспешно поднимаясь со скамейки, в то время как она усаживалась, чтобы отдышаться и обмахнуться веером, — «Где ты пропадала?» — он с недоверием окидывал ее взглядом с ног до головы, словно незнакомку, — через несколько минут они уже шли по направлению к дому по аккуратно вымощенным улицам, обсаженным аккуратно подстриженными деревьями, мимо аккуратных немецких домов с закрытыми от полуденного солнца ставнями — он чуть впереди, держа в руке свою черную шляпу, более похожую на котелок, — он купил ее в Берлине по настоянию Анны Григорьевны, но сейчас в ней было жарко, и кроме того она напоминала ему ту шляпу, которая была изображена в так называемом дружеском шарже, а попросту говоря, в карикатуре, помещенной в одном из номеров «Иллюстрированного альманаха» вскоре после опубликования «Господина Прохарчина» в «Отечественных записках» Краевского, — на картинке он расшаркивался перед Краевским, держа в руке такую же точно шляпу, — впрочем, нет, кажется, шляпа была надета, и он только собирался ее снять — на рисунке она была непропорционально больших размеров, так же как и голова его, так что туловище его и подчеркнута короткие ноги представляли собой как бы придаток к голове и шляпе — это без сомнения следовало понимать как намек на его преувеличенные представления о собственных умственных способностях и талантах, а через несколько лет, когда он уже прошел каторгу и находился в ссылке — и даже это их не остановило — Панаева, этого фигляра со свисающими вниз почему-то всегда мокрыми усами, и компанию, — в «Современнике» появилась заметка о том, что он, Достоевский, просит Некрасова печатать «Бедных людей» в золотой рамке, и все это подавалось в комическом виде, тоже с издевкой, — самое же ужасное заключалось в том, что в споре с кем-то из панаевцев, в запальчивости, почти теряя сознание от бешенства, до которого его довели, он на самом деле выкрикнул что-то насчет того, что по сравнению с тем, что печатается, так его могли бы и в рамке напечатать, чтобы понятна была читателям разница между настоящим литературным произведением и пошлостью, а заодно и некоторым писателям и критикам не мешало бы это знать — он намекал на этого лоснящегося Тургенева, первое время слушавшего его с выражением веселого удивления и даже наивного изумления, точно ему впервые приходилось столкнуться со столь оригинальным суждением, — это выражение неподдельного участия приглашало куда-то дальше и дальше — хотелось еще больше изумить этого немножко наивного барина, увлечь его своими идеями, а заодно подогреть и себя самолюбивыми мечтами — все дальше и дальше, вглубь самого себя, раскрывая себя до конца, потому что мысленно он уже видел себя парящим где-то высоко вместе с Тургеневым, со своим закадычным другом и, к тому же, столь почитаемым, что слава этого молодого, но уже знаменитого писателя становилась и его славой, а слава его, Достоевского, еще начинающего, но уже известного литератора, распространялась на Тургенева, и оба они, озаряя друг друга своей славой, обмениваясь ею, взаимно купаясь в ее лучах, парили над всеми, и эти все восхищались их необыкновенной дружбой, эдаким необычайным, неслыханным до этих пор слиянием сердец, пока Тургенев не стал вдруг подставлять ему ножку, такую, на первый взгляд, невинную, что, казалось, он делал это случайно, ненароком, или даже по ошибке, — однако Достоевскому с каждым разом становилось все очевиднее, что он просто попадал в хитро сплетенный лабиринт, попадал в невидимо расставленные сети и беспомощно бился в них, пытаясь вырваться оттуда, — он вдруг видел себя сидящим на стуле перед этим высокомерным барином, ерзая, пытаясь встать, опираясь руками на колени, но тело не слушалось его, — он продолжал сидеть,

то бледнея, то покрываясь краской, а вокруг все смеялись — над ним! над его дружбой! — и Тургенев, его кумир, небрежно облокотившись на спинку кресла, приставив к глазам холодно поблескивающий лорнет, тоже смеялся с остальными, чуть поглаживая рукой свою холеную бороду, — его намек в споре с кем-то из панаевцев относился также к Некрасову и даже к Белинскому, которые на литературных вечерах вдруг почему-то стали играть в преферанс — эдакое тупоумное занятие, — усаживаясь за стоящий где-то в стороне, возле ниши, ломберный столик, словно его, Достоевского, и не существовало, — он нарочно, по несколько раз за вечер подходил к ним, заглядывая в карты, так что он уже сам понимал, что это становится неприлично, покашливал, но они даже не поднимали головы, словно его вовсе и не существовало, — однажды, находясь в гостях у Белинского, он даже напросился к нему и к Некрасову в партнеры, но они, как только он стал усаживаться, поднялись и отошли в противоположный конец гостиной, где затеялся какой-то оживленный разговор об очередной пассиве княгини Волконской и даже образовался небольшой кружок, — он сидел, стискивая ладони до хруста и боли в пальцах, зажав их между коленями, почти опираясь грудью на ломберный столик, — неужели это был тот Некрасов, который явился к нему тогда, поздно ночью или рано утром? — на улице было светло, потому что стояли белые ночи, — явился к нему, весь запыхавшийся, словно он бежал всю дорогу от своей квартиры до Графского переулка, где жил Достоевский, — явился, держа рукопись «Бедных людей» за спиной, словно подарок, и неужели это был тот же Белинский, который, прочтя рукопись, принял его у себя в кабинете в этой же квартире, в неурочный час и, посадив напротив себя, возле огромного, заваленного бумагами письменного стола, пытался держаться менторского тона, но это не давалось ему, и он, вскочив из-за стола, принялся быстро ходить по кабинету и горячо говорить и жестикулировать, и вся эта горячность и восторженность, переходившая в ликование, относилась к нему, Достоевскому, и к его роману? — часом позже он стоял на Невском возле дома, где жил Белинский, на углу Фонтанки, глядя на синее небо, на прохожих, на снующие экипажи, и все происшедшее с ним казалось ему неестественным, потому что о таком он не смел даже мечтать, и все это более походило на сон — через несколько дней о нем заговорил весь литературный Петербург, и даже нелитературный, — Белинский представлял его всем знакомым, как некую знаменитость, как подают к концу званого обеда пикантное блюдо, — мелькали почтительно склонившиеся перед ним седые головы петербургских именитостей с бакенбардами и с орденами в петлицах, женские взгляды, о которых он не смел мечтать, устремлялись на него с интересом, кокетливо, подобострастно, в гостиных затихал говор, когда он входил туда, — неужели это были те же Белинский и Некрасов, теперь так равнодушно отошедшие от карточного стола, когда он сел за него, напрашиваясь к ним в партнеры, только бы напомнить им о себе, надеясь хотя бы своим присутствием, хотя бы тем, что он мешает им, вымолить у них хотя бы несколько лестных слов о «Двойнике», ну хотя бы намек, пусть даже и не лестный, пусть критику, но только не это ледяное молчание! — ах, с каким интересом они обсуждали сейчас в противоположном углу гостиной, в окружении этих нескольких бездарностей, ставших теперь модными в петербургских салонах, с каким интересом обсуждали они светские сплетни о княгине Волконской — они, эти, с позволения сказать, передовые умы, литераторы! — он одиноко сидел за ломберным столиком, все ниже склоняясь и прижимаясь грудью к его твердому краю, так что ему становилось трудно дышать, и каждый удар сердца отдавался у него в ушах, заглушая оживленный шум голосов, доносившихся теперь из центра гостиной, куда переместился весь кружок, еще большей сжимая ладони между коленями, и, несмотря на горевшие ярко свечи в хрустальных люстрах, все лица присутствующих на вечере казались ему серыми, — он встал, но вместо того, чтобы пройти в прихожую и, небрежно накинув на

себя пальто, покинуть этот дом на Невском, возле которого он еще не так давно стоял, не осмеливаясь верить в сбывшуюся свою мечту, вместо этого он, словно мелкая рыбешка, привлекаемая невидимыми химическими веществами к пасти морского чудовища, направился к этому кружку, протискиваясь между гостями, жадно заглядывая в глаза Белинского и Некрасова, которые, конечно, уже находились в центре внимания кружка, став его средоточием, пытался плоско остричь, вымаливая их взгляды, вступал с кем-то в спор, горячась, крича и в то же время понимая, что говорит нелепости, и, полностью теряя надежду, принимался поддакивать, но никто не слушал его — морской гигант плыл, не желая даже проглотить мелкую рыбешку, брезгуя ею, до того она была мелка и непривлекательна, — короткая, полуденная тень, отбрасываемая его чуть согнувшейся и устремленной вперед фигурой, следовала сбоку от него, скользя по серому клинкеру мостовой, — тень была короткой оттого, что солнце стояло высоко, почти в самом зените, да еще в разгаре лета, так что удивительно было, что фигура человека и дерева и дома могли при таком стоянии солнца вообще отбрасывать какую-либо тень, — Анна Григорьевна шла рядом с ним, но чуть позади, так что ее тень скользила вслед за его тенью и, хотя была такой же короткой, как и его, но какой-то более изящной, несмотря на то, что будущие Миша или Сонечка должны же были, в конце концов, изменить ее фигуру, — иногда его тень накладывалась на ее тень, когда он чуть замедлял шаг или когда она начинала идти чуть побыстрее, иногда же тени их скрещивались — впрочем, это могло только так казаться, потому что противоречило самым простым законам физики, — раз или два он видел здесь, в Бадене, мимоходом, Тургенева и Гончарова, — Гончаров тоже бывал у Панаевых, но в те годы они так и не познакомились, а познакомились уже после ссылки, — у Гончарова, такого же вялого и одутловатого барина, как и его Обломов, за которого ему платили 400 рублей с листа, в то время как ему, Достоевскому, при его нужде платили всего 100 рублей, были какие-то тухлые глаза, как у вареной рыбы, и весь он был пропитан запахом канцелярии, хотя при его доходах мог бы не работать, но, наверное, скупость брала свое, что, впрочем, не мешало ему останавливаться в «Европе», лучшем отеле Бадена, — здесь же стоял и Тургенев вместе со своим Литвиновым из «Дыма» — этим бесплотным героем бесплотного романа, в котором тужился Потугин, этот вредный болтун, поносящий Россию и ломающий шапку перед последним немецким бюргером и посещающий Литвинова в этой первоклассной гостинице, куда их с Анной Григорьевной не пустили бы даже в вестибюль, так они были бедно одеты, и сюда же, в эту гостиницу, к Литвинову, тайно приходила госпожа Ротмирова, красавица Ирина, жена генерала, — опустив вуаль, она неслышными шагами входила к нему в номер, а потом он так же тайно пробирался к ней в номер, тоже в фешенебельную гостиницу, лестница которой была устлана коврами, и куда их с Анной Григорьевной тоже, вероятно, не пустили бы, и все это происходило под аккомпанемент потугинских рассуждений о том, что России давно пора бы уже провалиться куда-нибудь в тартарары и что если бы это произошло, то никто бы даже этого и не заметил, — первый раз он увидел Тургенева неподалеку от здания вокзала — Тургенев шел с какой-то дамой по аллее, чуть склонив свою крупную голову, небрежно поигрывая лорнетом на золотой цепочке, слушая даму только из учтивости, и встречные прогуливающиеся замедляли шаг, а потом оглядывались, чтобы посмотреть еще раз на этого знаменитого писателя, — Достоевский тоже чуть замедлил шаг, как-то механически, даже сам того не осознавая, потом хотел метнуться в сторону, но было уже поздно — Тургенев заметил его, — лицо его выразило наигранно-радостное удивление, словно встреча с Достоевским была для него чрезвычайным сюрпризом, как будто он никак не ожидал увидеть его среди этой праздно шатающейся, расфранченной публики на этом европейском курорте, при его-то образе мыслей, хотя Тургенев отлично знал, зачем он здесь — его

игра не была ни для кого секретом, — Тургенев был одет в легкий светлосерый костюм, и его дама была тоже в чем-то легком и дорогом — «Какими судьбами, батенька?» — спросил он его своим высоким женским голосом, так не вязавшимся с его представительной фигурой, — приостановившись, он приподнял легкую белую шляпу, так что показалась вся его знаменитая львиная грива, теперь седеющая и поэтому, как утверждали его поклонники и, в особенности, поклонницы, особенно благородная, — «Познакомьтесь», — сказал он, обращаясь по-французски к даме, — «Господин э-э, — он сделал небольшую паузу, словно не мог сразу вспомнить имени, — господин Достоевский, бывший инженер, а ныне петербургский литератор», — узкая рука в тонкой перчатке небрежно протянулась к нему — он попытался принять эту руку и сказать что-то светское, кажется насчет погоды или еще чего-то, но руки, пахнувшей какими-то особыми, утренними духами, уже не было — Тургенев и его спутница уже ушли куда-то, а он стоял все на том же месте, в своем черном не по сезону костюме, держа в руках черную шляпу, словно Трусоцкий из «Вечного мужа», — Тургенев никогда не упускал случая, чтобы назвать его инженером или, в крайнем случае, бывшим инженером, подчеркивая тем самым как бы искусственную причастность Достоевского к литературному миру, в котором по праву царил он, Тургенев, а Достоевский был только выскочкой, *parvenu*, — после возвращения из ссылки они несколько раз виделись и даже как будто заново сошлись — участвовали в одном или двух благотворительных спектаклях, обменивались письмами — Достоевский пытался привлечь Тургенева в свой журнал «Время», который издавал вместе с братом, — в нескольких письмах, написанных за границу к Тургеневу, он просил его немедленно прислать «Призраки» для своего журнала, но выходило как-то так, что он не просил его, а умолял, да еще как-то судорожно, и тут же в письме объяснял ему, что он хотел бы его видеть, или что прошлое их свидание не все разъяснило им обоим, надо бы еще объясниться и свидеться, и все это он писал по нескольку раз в одном и том же письме, но опять же как-то судорожно, навязываясь в друзья, понимая это и оттого еще больше навязываясь, — в первое время после возобновления их знакомства Тургенев был как-то осторожен с ним, может быть, жалел его, но потом сквозь эту осторожность снова стало проглядывать наигранное изумление, приглашавшее собеседника к полному раскрытию, и хотя расставляемые капканы и подставляемые ножки не были столь откровенными, как во времена панаевского кружка, приходилось все время быть на чеку и даже спотыкаться — он чувствовал себя в роли канатоходца, который мог в любую минуту сорваться и полететь вниз, — с каждым разом канат, по которому он ходил, оказывался все менее надежным, и порой он еле удерживал равновесие, балансируя с помощью вытянутых рук, — взгляд, полный наигранного интереса и поддельного участия, торопил его — скорее, скорее — проделать все «па» до того, как он сорвется и полетит в бездну, — только бы услышать этот лживо-искренний смех, заслужить хотя бы некоторую взаимную откровенность, ради этого можно было отплясывать канкан, даже уже сорвавшись, летя вниз, проделывая в воздухе пируэты, — приставив к глазам холодно поблескивающий лорнет, Тургенев снисходительно-пристально следил за ним, сидя напротив него в своем просторном гостиничном номере с белой, инкрустированной золотом мебелью, с расписанным потолком и огромными окнами, задрапированными в малиновый бархат, — пришедшему удалось обойти обер-кельнера, который накануне бесцеремонно загородил ему дорогу, заявив, что барина нет дома, — на этот раз, как бы невзначай прогуливаясь мимо стеклянной двери гостиницы, он выбрал момент, когда обер-кельнер отлучился куда-то из вестибюля, и быстро прошел в дверь, а оттуда, не оглядываясь, словно ему могли выстрелить в спину, почти пробежал до широкой мраморной лестницы, устланной ковром, а затем вверх по ней, словно его преследовала стая гончих, и уже не-

сколько спокойнее, стараясь обрести должное достоинство, по коридору, минуя множество белых дверей с золотистыми вензелями, — «Ах, да это вы!» — говорил Тургенев своим высоким женским голосом, встречая гостя наивной, радостно-изумленной улыбкой, — он был одет в длинный халат, отчего казался еще выше ростом, темная, густая, чуть седеющая борода, знаменитая львиная грива, внимательный, приглашающий взгляд темно-серых глаз с чуть зеленоватыми искорками, — «Много, много слышан про вас и про ваш роман, хотя сам еще не имел счастья прочесть», — сказал он, проводя гостя в просторный кабинет с большим письменным столом, заваленным книгами и рукописями, и с широким диваном, на котором лежали небрежно сложенный плед и подушки, — «Однако, дайте же на вас поглядеть как следует», — Тургенев отошел на несколько шагов от гостя, словно мастер, оценивающий свою картину, и на секунду поднес к глазам лорнет на золотой цепочке, — «Ну, да вы теперь самый что ни на есть натуральный литератор, с эдакой-то манишкой», — зеленоватые искорки, таившиеся на дне глаз, ярко вспыхнули и тут же погасли — лицо его снова приняло выражение радости и внимания — «Однако, усаживайтеська поудобнее» — и он подвинул гостю стул, сам же уселся в кресло, заложив ногу на ногу, чуть подрагивая узкой длинной туфлей, расписанной на манер его турецкого халата, — эту манишку они выбрали с Анной Григорьевной в Дрездене, она показалась им какой-то особенной, потому что была с чуть закругленными уголками воротничка, и они решили, что это модно, и вчера Анна Григорьевна долго отглаживала манишку — он сел, беспокойно оглядываясь по сторонам, не зная куда положить шляпу, — неужели он пришел сюда, чтобы выслушивать это? — разве затем он унижался перед обер-кельнером, чтобы сидеть здесь жалким посетителем, даже скорей просителем, хотя он ничего не просил? — еще секунда, и он, пожалуй, начнет отплясывать свой канкан — он находился сейчас на краю пропасти, стоило сделать только шаг, и он сорвется и полетит в бездну, — он все еще беспокойно оглядывался, — «Извините меня за некоторый беспорядок, — сказал Тургенев, перехватив взгляд гостя, — или, как говорят немцы, «Unordnung», — «А по-моему, так вы уже давно немец, так что вам нечего и извиняться», — выпалил он невпопад, как всегда, когда хотел съязвить, но это только еще больше раззадорило его — шаг к краю пропасти был сделан, — «И роман ваш целиком немецкий...» — теперь он летел вниз, и возврат уже был невозможен — лицо Тургенева странно передернулось, он откинулся в кресле и приставил к глазам лорнет, словно щит, а пришедший, положив шляпу на стоявший между ними белый инкрустированный золотом ломберный стол, весь как-то подался вперед, словно фехтовальщик, вынимающий шпагу из ножен, — «Ваши слова я принимаю за похвалу, — парировал Тургенев, — литература, которая дала Гете и Шиллера...» — но гость сделал ответный выпад: «Вы никогда не знали и не понимали Россию, ваш Потугин, этот жалкий семинарист...» — теперь Тургенев весь подался вперед — «Однако, Россия располагает, видимо, весьма полезными средствами для воспитания квасного патриотизма», — Тургенев, конечно, намекал на каторгу — это был удар ниже пояса, — «Поезжайте в Париж и купите там телескоп, через него рассматривайте Россию», — он где-то прочел недавно про телескоп, установленный в Париже, и теперь выпалил это одним духом — Тургенев снова отклонился на спинку кресла, закрывшись щитом-лорнетом, — они дрались на шпагах, сидя по обе стороны круглого ломберного инкрустированного стола, нанося друг другу булавоочные уколы, — этот поединок вошел в историю русской литературы как ссора между Достоевским и Тургеневым на почве идейных разногласий, касающихся отношений России и Запада, — немногим более ста лет спустя споры между славянофилами и западниками, казалось навсегда угасшие с приходом к власти рабочих и крестьян, возобновились с новой силой — человек с жестким и пронизательным взглядом и двумя горестными морщинами, прорезающими его лоб, доставленный в

сопровождении охраны в аэропорт Франкфурта-на-Майне, города по улицам которого проездом в Баден бродили супруги Достоевские, — человек этот, прибывший за границу в качестве вечного гостя и поселившийся за океаном в одном из Северных штатов, природа которого лишь отдаленно напоминала ему снега и леса его родины, отчего родина эта представлялась ему намного более прекрасной, чем она была в действительности или могла бы быть, — человек этот подхватил, словно жезл эстафеты, рукоятку меча, которым более ста лет назад сражался гость Тургенева, и теперь ожесточенно размахивал им, рассекая воздух, кося направо и налево, — он стоял на высоком снежном сугробе, возле своего участка с коттеджем, огороженного колючей проволокой, — он стоял почему-то без шапки, словно на кладбище, и ветер развеивал его гладкие, прямые волосы, поседевшие и поредевшие, а борода его, тоже поседевшая, заиндевела на морозе и с нее свисали сосульки — впрочем, кажется, он рассекал только воздух — соотечественники его мирно спали или смотрели по телевизору международный хоккей, болея за родную команду, подкрепляя свой патриотизм стопками и стаканчиками, крича: «Саша, давай!» — с наливающимися пунцом лицами, ударяя от восторга или от досады своими негнушимися ладонями то свои колени, то колени соседа, а потом, захмелев, смотрели программу «Время», в которой, между прочим, человека, стоявшего на снежном сугробе и размахивающего мечом, называли отщепенцем и подонком — толкая локтем в бок соседа, они спрашивали друг друга: «Коля, а Коля, ты не знаешь, чего они его не расстреляли, а?» — по утрам же, перехватив в киоске пива, они покупали «Звездочку» и «Комсомолочку», как они нежно называли их, и, не торопясь, любовно разглаживая газету на коленях, ехали на работу — на стройку или на завод, где они тоже обсуждали перипетии вчерашней хоккейной баталии, а в перерыве, или даже не дожидаясь его, снова поддавали, — человек, подхвативший по эстафете меч из рук Достоевского, ожесточенно размахивал им, обвиняя Запад в непонимании России и путей ее дальнейшего развития, которое целиком должно основываться на национальном духе, — он, а также единомышленники его скрещивали оружие с теми, кто придерживался иной точки зрения на Россию и ее будущее — среди них особенно выделялся человек с жидкими сероватыми волосами, с неприметным взглядом серых глаз и мягкими чертами лица — неопределенность выражения лица и глаз этого человека с лихвой возмещалась энергичным лицом его жены, темноволосой и темноглазой женщины с резкими линиями подбородка и уверенной осанкой, — это она вложила ему в руку меч, и когда он выпадал из его руки, она снова подавала ему меч и даже зажимала его руку в своей, чтобы меч не выпал, и направляла движение его руки, как это делают иногда с ребенком, когда обучают его письму, — оба они стояли на крепостном валу старинного русского города, где они вынуждены были проживать, позади них золотились купола и белели только что отреставрированные башни древних церквей и соборов с абсидами и закомарами, но взоры их были устремлены на Запад, — взгляд же человека, стоящего на снежном сугробе на противоположном конце земного шара, был устремлен на Восток, к его родине, — один из парадоксов истории, который, впрочем, не был парадоксом, потому что был заранее продуман, — мужчина и женщина, стоявшие на крепостном валу, держали не меч, а древко флага, — его огромное белое полотнище, спускавшееся до самой земли, колебалось на ветру, и на нем поочередно возникали надписи — то черные, то красные, то желтые — призывающие, предупреждающие, требующие, — они стояли, вытянув вперед и чуть вверх руки, удерживающие древко флага, чем-то напоминая собой скульптурную группу, установленную перед входом на ВДНХ, символизирующую собой диктатуру рабочего класса и крестьянства и одновременно производство студии «Мосфильм», — бронзовый рабочий с выпуклыми мышцами, словно из анатомического атласа, и колхозница в косынке, простирающие вперед и вверх две руки,

сходящиеся вместе, чтобы удержать пудовые серп и молот, — чьи-то невидимые, но страшные и неумолимые руки пытались стянуть с крепостного вала человека с невыразительными чертами лица и смуглую энергичную женщину, но они продолжали размахивать полотнищем, на котором, словно на световой рекламе, поочередно вспыхивали разноцветные надписи, — рука мужчины была бледная, с набухшими в локтевом сгибе венами, сердце его работало с перебоями, и ему часто делали инъекции, — соотечественники ненавидели его еще больше, чем того, другого, окопавшегося теперь на другом конце земли, и считали его евреем, — до своего вынужденного переезда в старинный русский город он разъезжал по всей стране, требовал чего-то, прорывая милицейские кордоны, подталкиваемый своей женой, разворачивая с ее помощью в самых неожиданных местах и в самый неожиданный момент этот огромный белый флаг с попеременно меняющимися призывами, собирая вокруг себя кучки иностранцев, разговаривающих на непонятном, подозрительном языке и обвешанных фото- и кинокамерами, с помощью которых они, наверное, уже отсняли все шлюзы на канале Москва-Волга, а также все столичные вокзалы и очереди за апельсинами или за мясом, чтобы потом использовать все это в военных целях и рассказывать небылицы о нашей стране, — «Руки — прочь!» — хотели выкрикнуть им соотечественники, стоявшие в очередях или дежурившие возле билетных касс в ожидании их открытия, но они не знали, можно ли это сделать, потому что указания на этот счет никакого не было, и они молчали, и это молчание, неприязненное и враждебное, преподносилось человеком, размахивающим флагом и прорывающим кордоны, как молчание порабощенных, и об этом же вопила пара десятков других, так же размахивающих флагами, только помельче, — они появлялись тоже неожиданно и тоже в самых неожиданных местах и разворачивали свои жалкие флажки, собирая вокруг себя иностранцев, которым они передавали государственные тайны — они торговали родиной, — наверное, все они были патлатыми с длинными носами — пусть бы ехали к себе и там бы размахивали своими флагами во главе с этим, самым главным, у которого жена носила нерусскую фамилию, да и сам он был таким же, а вообще сослать бы их куда Макар телят не гонял, или еще лучше в расход вывести, шантрапу эту длинноносую, а заодно и всех их единоплеменников, так что человек, окопавшийся на другом конце земли, напрасно суетился и размахивал своей шпагой — страна его без его помощи и подсазки развивалась в нужном ей направлении, на основе своего национального духа, — тени супругов Достоевских, скользившие по клинкеру, удлинялись, когда они подходили к дому, потому что расстояние между каштановой аллеей, где Федя сидел на скамейке в ожидании Анны Григорьевны, и их домом было порядочное, солнце жгло спину сквозь желтый берлинский сюртук, — на следующий день после посещения гостиницы, утром, когда они еще только собирались пить чай, Marie принесла им визитную карточку из плотного глянцевого картона с каллиграфически выведенной слишком знакомой фамилией — конечно, столь ранний час был выбран Тургеневым нарочито, из одной лишь оскорбительной вежливости, потому что, кто же в такой час делает визиты? — уж не отплясывал ли он тогда перед ним в гостинице канкан? — на минуту он увидел перед собой лицо Тургенева со свойственным этому лицу выражением наигранного изумления — нет, тогда в гостинице, он заставил-таки это лицо изменить свое привычное выражение — глаза Тургенева следили за ним сквозь лорнет с выражением пристального внимания, настороженности и даже затаенного страха, словно обладатель этого лорнета боялся, что его сейчас укусит бешеная собака, — эта мысль так понравилась ему, что он даже улыбнулся, — в комнатах было прохладно, темно и даже тихо — мастеровые из кузницы, наверное, обедали, а пронзительно кричавшие всю ночь и утро дети заснули, — на секунду ему захотелось сбросить с себя свой тяжелый сюртук и прилечь, но Анна Григорьевна открыла окна и ставни, кото-

рые она всегда тщательно запирала, когда они выходили, потому что она боялась воров, пожара и грозы, вместе с запахом цветущей акации и ярким солнцем в комнаты проникали звуки улицы — цоканье копыт по клинкеру, отрывистые громкие фразы, которыми обменивались женщины во дворе, грохот телег, на которых развозили не то воду, не то пиво, — нет, сейчас он не мог позволить себе этого, он должен был идти — принуждаемая его требовательным взглядом, Анна Григорьевна со вздохом достала мешочек и вынула оттуда несколько золотых монет — дрожащей от нетерпения рукой он засунул их в жилетный карман, хотя у него был кошелек, но так было быстрее, главное же удобнее во время игры, поскольку он никогда не знал, сколько еще у него оставалось, и поэтому мог ставить свободнее, не отвлекаясь мыслями об остатке и, следовательно, не производя ненужных вычислений, мешавших игре, — он шел чуть подавшись вперед, тень его скользила сзади него, потому что солнце светило теперь спереди, — он ежедневно, по нескольку раз, курсировал между домом и вокзалом, отклоняясь от своего маршрута, только чтобы забежать на почту, но деньги от Каткова не приходили, или в лавку или на рынок, чтобы купить фрукты и цветы для Анны Григорьевны на пути с вокзала, когда он бывал в выигрыше, — в общем, он шел в гору, несмотря на запахи духов, исходившие от каких-то дамочек, случайных посетительниц, ставивших по одной монете, а также несмотря на жидов и полячков, мельтешивших перед глазами, — он шел в гору, хотя иногда и спотыкался или вдруг неожиданно спускался, каждый раз думая, что это конец, но оказывалось, что это был только холмик на подъеме, ведущем к вершине, которая медленно, но неуклонно приближалась, — иногда он даже видел ее сквозь прорывы облаков — покрытая нетронутыми снегами, она серебрилась в лучах солнца, а иногда даже отсвечивала золотом, — все они оставались внизу — Тургенев, Гончаров, Панаев, Некрасов — взявшись за руки, они водили какой-то жалкий хоровод у подножья горы, окутанные смрадным туманом низины, суевающиеся, снедаемые пустым тщеславием, — задрав вверх головы, они с завистью смотрели на него, поднимающегося к недостижимой вершине, — им было незнакомо это всеохватывающее чувство раскрепощения, которое испытывал он, равно как неведома им была та страсть, которая заставляла его идти, — он обязан, он должен был преступить, — подходя к зданию вокзала, он стал ступать более мелкими шагами, чтобы количество шагов, сделанных им от дома, составило 1457 — такая цифра, по прежним его подсчетам, была наиболее удачная — в эти разы он всегда выигрывал, — в общем удивительного тут ничего не было — последней цифрой была семерка, и сумма цифр составляла семнадцать — опять семерка, — было что-то в этой цифре особое — резко нечетное, ни на что не делящееся, кроме себя самой, причем не только в чистом виде, но и в большинстве двузначных чисел — 17, 37, 47, 57, 67 и т. д. — особая это была цифра, — последний шаг перед ступенями, ведущими в дверь вокзала, ему пришлось сделать совсем маленьким — даже не шаг, а какой-то шажочек получился, но все же в конечном счете цифра была его — 1457! — пройдя широкий вестибюль с фонтаном, вокруг которого стояло несколько оживленно беседовавших французов, он поднялся по широкой лестнице с безвкусными античными фигурами на второй этаж, — он начинал всегда со средней самой большой залы — сердце его стучало, словно перед свиданием, рукой он прощупывал сквозь ткань жилета монеты, чтобы убедиться, что он не потерял их, — протолкавшись через толпу любопытных, окружавших стол, он объявил, что ставит три золотых на *impair*, потому что это был нечет — теперь он был спокоен — главное было протиснуться через толпу этих чужих и враждебных людей, протиснуться так, чтобы никто не оскорбил его или чтобы не показалось, что оскорбил, — не менее важным было начать игру, то есть заявить себя, — он старался громко выкрикнуть ставку и условие — ему казалось, что в этот момент взгляды всех сидевших и стоявших вокруг стола обращались на него и что все

они думали, что он играет из-за денег, то есть из-за нужды, и поэтому он старался выкрикнуть как можно небрежнее и громче, но получалось слишком просительно или, наоборот, вызывающе, так что опять-таки могли подумать, что у него какие-то чрезвычайные, особые обстоятельства, заставляющие его играть, — теперь это было позади, — он взял удар да еще на семерке — двойное везение и благоприятный предвестник, — он выиграл три золотых и поставил шесть снова на *impair*, и снова взял, теперь, правда, на девятке, — надо было переходить на *manque*, так как *passé* выходил уже три раза подряд, — он поставил пять монет из выигранных девяти, — он брал удар за ударом — на *passé*, на *manque*, на *rouge* и *noir* и даже два раза на *zero*, — груда монет возвышалась перед ним, — кто-то услужливо подставил ему стул, но он не садился, чтобы не изменить хода игры, да он, пожалуй, и не осознал бы, что это стул и что он должен с ним делать, — все кружилось вокруг него в каком-то бешеном вихре, он ничего не видел вокруг себя, кроме груды монет, лежащей перед ним, и мечущегося шарика, попадающего в загаданные им лунки, — он брал и брал, загребая руками выигранные монеты и приобщая их к груде, отсвечивающей золотисто-красным светом, — вершина горы, внезапно открывшаяся из-за облаков, которые остались где-то уже внизу, — он находился теперь так высоко, что даже не видел земли, — все было покрыто белыми облаками, и он ступал по ним, и — странно — они выдерживали его и даже поднимали его к золотисто-красной нетронутой вершине, еще совсем недавно казавшейся недостижимой, — «Вы взяли мою монету, сударь, извольте отдать!» — услышал он чей-то неприятный скрипучий голос, — столпившиеся вокруг стола игроки и любопытные все еще вращались вокруг него, словно едущие на карусели, — кто-то потянул его за рукав — господин, бритый, с плоским лицом и нафабранными усиками, в упор глядел на него выпуклыми бесцветными глазами — он говорил по-французски, но с каким-то неприятным акцентом — не то польским, не то немецким, — карусель внезапно остановилась, хотя ехавшие на ней продолжали еще крениться вперед по инерции — они застыли наподобие живой картинки, но взгляды их были устремлены на него, и даже крупье, сидевшие по обе стороны стола, подняли свои бесстрастные лица, — он вдруг осознал, что этот господин обращался к нему и что он каким-то образом загреб монету этого незнакомого господина, но какое все это могло иметь значение по сравнению с его полетом к открывшейся ему вершине, — он пробормотал какое-то извинение и сказал, что это вышло по рассеянности, — все еще продолжая по инерции плыть в облаках и не осознавая всего происходящего, — «А я так думаю, что не по рассеянности», — отчеканил своим скрипучим голосом незнакомец, все так же вызывающе глядя на него и выдыхая ему в лицо запах бифштекса и красного вина, — на секунду ему показалось, что он уже давно предвидел все это, и он с необыкновенной легкостью покатился с горы стремглав вниз, туда, где из болотного тумана вырисовывались быстро приближающиеся знакомые фигуры, — они все еще вели свой странный хоровод, но теперь он не был жалким — взявшись за руки, они распевали какие-то куплеты, а в промежутках между куплетами выкрикивали какие-то слова, и слова эти относились к нему, но он не мог разобрать их смысла, хотя, судя по всему, слова эти содержали насмешку, и кто-то еще участвовал в хороводе — лиц их он не мог еще разглядеть, но одно, кажется, уже вырисовывалось — багровое с рысьими глазами, а также лица каких-то женщин — не тех ли, которые заглядывали через решетчатое окно кордегардии? — он снова пробормотал что-то невнятное и даже, кажется, попытался вручить незнакомцу монету, но его уже не было — он увидел только удаляющуюся его спину, где-то далеко, уже за пределами кольца игроков и любопытных, окружавших стол, — «Подлец», — сказал он, потому что, наверное, в подобных случаях следовало так сказать, но он произнес это слово по-русски да еще как-то тихо и невнятно, словно адресуя это к себе, — заложив руки за спину, незнакомец победно

удалялся, мерно чеканя каждый свой шаг, словно уходящий командор, — странная тишина воцарилась в игорной зале — впрочем, это уже был конец ее, — желтый свет хрустальной люстры с трудом пробивался через табачный дым, и углы залы тонули в полумраке, — внезапно, словно он вынул вату из ушей, он услышал голоса, кашель, — оказалось, люди двигались, говорили, крупье выкрикивали результаты, игроки — ставки и условия, — он поставил на *parse* и взял, но это уже было похоже на бег человека, получившего смертельное ранение — следующий удар он проиграл, еще один проиграл, поставил на *zero*, и груда его монет сразу уменьшилась почти вдвое, — он продолжал свое падение — лицо Тургенева, увеличившееся теперь до необыкновенных размеров, выражало наигранное удивление и сочувствие, и его крупная фигура выделялась среди остальных ведущих хоровод, сопровождая его комическими припевками, остальные тоже лихо приплясывали и подпевали, — дневной свет удивил его, когда он вышел на улицу? — он думал, что давно уже ночь, — отцы семейства с женами возвращались из церкви или после прогулки, ведя за руки детей, по улице ехали экипажи и кареты, дорогу ему перебежала черная кошка, и по привычке, из суеверия, он остановился, но потом разглядел, что это была болонка, и, кроме того, хуже, чем было, уже не могло быть, — «Подлец!» — сказал он незнакомцу по-французски и ударил его наотмашь по лицу, плоскому, чем-то похожему на корыто, с плоскими оттопыренными ушами, так что руке его стало больно, — незнакомец пошатнулся и стал медленно оседать на пол — играющие и любопытные расступились, чтобы дать ему место на полу, а затем собрались вокруг него, а остальные бросились к ударившему и стали его выводить из залы, но он в захватывающем дух исступлении расшвырял их всех и, подойдя к игорному столу, сорвал весь банк на *zero* — он был на самой вершине горы и оттуда, сколько хватало глаз, виднелись необозримые пространства с игрушечными городами и темно-зелеными лесами, казавшимися с такой высоты зарослями низкорослого кустарника, а еще дальше виднелось безбрежное синее море, сливающееся с таким же синим небом, — еще лучше было ударить его по лицу перчаткой и как ни в чем не бывало продолжать игру, спокойно объявляя ставки, словно ничего не произошло, или вызвать его на дуэль — ранним утром в окрестностях Бадена, где-нибудь в ущелье за Старым замком, они сходились с расстояния двадцати шагов — он целил незнакомцу прямо в грудь и в последний момент, перед тем как выстрелить в него, великодушно прощал ему, и незнакомец падал на колени и целовал ему ноги, а он поднимал его с земли — человек в черном костюме, без шляпы, которую он позабыл в гардеробе, шел по *Lichtentaler Allee*, не замечая встречных, жестикулируя и иногда произнося что-то вслух, — теплый летний ветер, дувший откуда-то из Шварцвальдов или Тюрингенов, слегка развевал его редующие волосы, отчето его знаменитые лобные бугры казались еще более выпуклыми — поезд стоял на станции Бологое, второй и последней остановке сидячего поезда по маршруту Москва—Ленинград. Захлопали двери тамбура, какие-то молодые парни и солдаты, впуская внутрь клубы морозного пара, выскочили из вагона без пальто и побежали по заснеженной платформе к единственному торгующему киоску, освещенному керосиновой лампой, в котором продавались пирожки местного изделия и бутылки пива, напоминающие по цвету концентрированную мочу со слегка вспенившейся поверхностью, — в пути окна вагона покрылись сплошной пеленой не то льда, не то снега, но сквозь этот серовато-белый покров, словно сквозь закрытые веки, просвечивали огни станции и тени бегущих людей, — где-то на северо-западе, в ста с лишним километрах отсюда, под двойным покровом ночи и льда, лежало озеро Ильмень, треугольное или многоугольное, как все озера, потому что в каждый угол озера вливается какая-нибудь река, с раскинувшимся на холме у его северного берега старинным Новгородом с его колокольнями и церквями X или XI века, строенными сурово и про-

чно, с высокими, узкими окнами, напоминающими бойницы, с золотистыми куполами, увенчанными ажурными восьмиконечными крестами, символизирующими православие, — по голубой поверхности озера, в которой отражались легкие белые облака, не торопясь, плыл колесный пароход, взбивая пальцами своих колес воду, брызги которой попадали на палубу, куда вышли супруги Достоевские с двумя детьми, чтобы полюбоваться прекрасным летним утром. Глядя на удаляющиеся купола новгородских соборов, Федор Михайлович поклонился в их сторону и перекрестился, усердно кладя свои трехперстия, так что на костюме его, несколько обвисшем на сузившихся за последнее время плечах, остались вмятины, а следом за ним аккуратно и тоже с поклоном перекрестилась Анна Григорьевна, одетая в черный дорожный платок, а потом оба они перекрестили своих детей, Любочку и Феденьку, своих дорогих деточек, как они оба неизменно называли их в письмах, потому что Сонечка, которую в Бадене носила под сердцем Анна Григорьевна, вскоре после своего рождения в Женеве там же и умерла, — пароход под названием «Витязь», которое было выведено золотой вязью на полукружии, покрывавшем колеса, пересек озеро Ильмень и, дойдя до его южного берега, вошел в устье речки Ловати, впадающей в озеро, и стал медленно подниматься вверх по течению, сначала — Ловати, затем — впадающей в нее Полести и, наконец, — Перерытицы, следуя извилистому руслу рек, осторожно обходя мели, предупреждая гудя встречным баржам, — вдаль показались колокольни и церкви Старой Руссы, и Достоевские снова несколько раз перекрестились и поклонились и перекрестили детей, — на Соборной площади, недалеко от церкви Воскресения стоял домик Грушеньки Меньшовой\* со сладким изгибом пальчика на ноге и с таким же сладким голосом, Грушеньки, оставленной женихом-поручиком и состоявшей в большой дружбе с Анной Григорьевной, принимавшей участие в ее сердечных делах, так что Федор Михайлович иногда даже завидовал Анне Григорьевне, — той самой Грушеньки, которая в романе была опозорена офицером в ранней своей молодости, затем взята под покровительство богатого купца-сластолюбца и из дома которой в ночь страшного убийства пробирался огородами и задами Дмитрий Карамазов к дому отца своего, Федора Павловича, — в этом доме, стоявшем на углу двух улиц, с большим участком, огороженным высоким забором, и банькой, жили Достоевские, каждое лето приезжавшие сюда из Петербурга, а иногда и зимой — глухой переулок позади дома зарос чертополохом и крапивой, и под этим чертополохом Достоевский нашел личинку бабочки или, правильнее, кокон с загадочным нутром, издающим сладковато-пригорный запах начинающегося тлена, — возможно, что он даже принес свою добычу домой, — комнаты его были разгорожены и перегорожены, так что в доме его было множество закоулков, антресолей, лестниц и всяких укромных и потайных местечек, — под этим же чертополохом Федор Павлович Карамазов нашел Лизавету Смердящую в одной посконной рубахе, — было что-то сладко-уничжительное в том, что Достоевский назвал его своим именем — Федор, — в комнатах старика Карамазова, разгороженных и перегороженных, и с какой-то лестницей, ведущей наверх, шла баталия между отцом и сыном из-за Грушеньки — Алеша, Иван и слуга Григорий удерживали поочередно то Дмитрия, то Федора Павловича, в исступлении кричавшего: «Ату его, ату его!» — Дмитрий, вырвавшись из рук державших его братьев, раскидывая и ломая на пути своем перегородки, мебель и какие-то вазы, ринулся к отцу и, страшным ударом сбив его с ног, принялся колотить его ногой в голову, — «Здорово он звезданул его!» — раздался сзади меня чей-то голос, — оторвавшись от экрана, я обернулся — сидевшие позади меня поочередно потягивали из бутылки, и бульканье это продолжалось до самого конца сеанса, и в разных концах зала, словно всплески застоявшейся воды, слышались то гиканье, то гогот, особенно же во время разгово-

---

\* Грушенька Меньшова — прототип Грушеньки Светловой, героини романа «Братья Карамазовы». — *Примеч. авт.*

ра Ивана с чертом о вере и бессмертии души, и точно так же пили пиво и водку экскурсанты, ехавшие по профсоюзным путевкам на тематическую экскурсию: «По местам Достоевского в Старой Руссе», а прибыв на место, они купались в Перерытице, а затем, наподдав, подплывали к самому винту парохода, чтобы покачаться на волнах, — вышагивая по своему кабинету в Старой Руссе, откуда были видны и Соборная сторона, и набережная, и примыкающая к ней улица, потому что дом, в котором он жил, как всегда, был угловой, а окна кабинета выходили еще и на самый угол дома, — вышагивая взад и вперед и то и дело поглядывая в окно на купол Успенского собора, золотящийся в лучах заходящего солнца, он диктовал Анне Григорьевне «Великого инквизитора» — страшный судья в черном облачении, гремя цепями, открывал кованную железом дверь, за которой находился пленник в своем неистлевшем за две тысячи лет одеянии и в терновом венце, — вернувшись на землю, такую же грешную, как и в те далекие времена, он снова испытал все ту же горечь непонимания и отчуждения и снова был обречен на муки и должен был искупать чужие грехи (уж не свои ли?), требуя от людей таких подвигов и таких страданий, которые были под стать только ему, — впрочем, всю глубинную философскую и религиозную суть «Великого инквизитора» впоследствии разъяснил Розанов, которого кто-то из современников назвал конгениальным автору «Братьев Карамазовых», — возможно, что эта конгениальность выражалась в необычном строении его черепа, имеющего форму конуса (отсюда — конгениальный), составленного, в свою очередь, из множества многоугольников, а, может быть, в странной и знаменательной судьбе его, ставшего мужем той женщины, с которой Достоевский когда-то путешествовал по Италии и затем на пароходе в одной каюте, вымолив ее разрешения быть ее другом, только другом и поверенным в ее сердечных делах с этим пустым испанцем, выдававшим себя не то за барона, не то за виконта и бросившего ее, как ненужную вещь, как поношенное платье, растоптавшим ее чувства и ее гордость, и оттого еще более желанной, — впрочем, он имел все основания считать, что впоследствии она раскаивалась в этом, да и разве за год до этой злосчастной поездки, еще в Петербурге, не приходила она к нему на квартиру в угловой дом на канаве, в ранние осенние сумерки, вся дрожа от дождя и пронизывающего холода, с опущенной вуалью? — натуральная героиня бальзаковских романов — или все это были его позднейшие фантазии, или, может быть, вымыслы его биографов, или даже ее собственные? — поезд давно уже шел, оставив где-то далеко позади Бологое с его призрачным киоском на платформе, освещенном керосиновой лампой, — вагон раскачивался из стороны в сторону вместе со всеми сидящими в нем пассажирами, матовыми плафонами и чемоданами, многократно отражающимися в темных окнах, за которыми бежали невидимые снежные пространства, так что «Дневник» Анны Григорьевны приходилось удерживать, чтобы он не свалился с выдвигающего столика на пол и чтобы строчки не прыгали перед глазами, — придя домой, Федя упал на колени перед Анной Григорьевной, так что она даже опешила и стала отступать куда-то в угол комнаты, но он пополз на коленях вслед за ней, повторяя: «Прости, прости» и «Ты мой ангел», — но она все отступала куда-то в сторону, и он, вскочив на ноги, принялся ударять кулаками в стену, а затем бить себя по голове, и это выглядело так, будто он делал это нарочно, словно разыгрывал какой-то фарс, так что на секунду ей сделалось даже смешно, но она боялась, что хозяйка может услышать, и, кроме того, это могло кончиться припадком, — она подбежала к нему и попыталась удержать — лицо его было бледно, губы дрожали, борода сбилась на бок, — стоя на коленях, он каялся перед ней за проигрыш, за то, что делает ее несчастной, но она не могла ни оценить, ни даже понять всей глубины его страдания и унижения, а, стоя в углу комнаты, смотрела на него удивленно и даже с какой-то недоброй усмешкой — уж не смеялась ли она над ним? — и вот тогда-то он вскочил с колен и стал барабанить

кулаками в стену, чтобы она наконец поняла, чтобы они все поняли — пусть знает хозяйка! пусть знают все!.. — он в исступлении колотил в стену, но всем им, наверное, было мало этого, потому что за стеной никто не шелохнулся, а Анна Григорьевна продолжала стоять в углу комнаты, — он стал бегать по комнате, натываясь на стулья и отшвыривая их в сторону, ударяя себя кулаками по голове, так что ладоням сделалось больно, — подбежав к нему, она попыталась удержать его — теперь лицо ее выражало только испуг — ага, она боялась шума, огласки, не более! она стыдилась его! — так пусть же она не зря стыдится его! — он оттолкнул ее и закричал, что выпрыгнет сейчас из окна, понимая в то же время, что он этого не сделает, — они тяжело дышали, глядя друг на друга, она со страхом и с мольбой, он — с ненавистью и ожесточением затравленного зверя — губы его по-прежнему дрожали, лицо исказила мучительная судорога, — «Федя, голубчик!» — она кинулась к нему и, обхватив руками его голову, прижалась к нему — все обиды, горести и оскорбления сегодняшнего дня, накопившиеся внутри его, разом подкатились к его горлу сладко-горьким комком, как в детстве, когда после очередного скандала, учиненного отцом, в детскую к нему тайком проскальзывала мать и, неслышными шагами подойдя к его кровати, наклонялась над ним и, думая, что он спит, тихонько гладила его по лицу и целовала, — комок, застрявший в горле, прорвался рыданием, сначала глухим, сдерживаемым, а затем громким, облегчающим, мучительно-сладким, взхлеб, — поддерживая его, утирая ему своим платком слезы, Анна Григорьевна повела его к кровати, сняла с него сюртук и жилет, помогла ему лечь, укрыла его, — ей было странно, что такой серьезный и умный человек, как ее муж, мог плакать — это было что-то вроде припадка, та же болезнь, и ее наполнило острое чувство жалости к нему и вместе с тем какой-то ответственности за него (перед кем?), словно он был ее ребенком, — он еще всхлипывал, но это уже были всплески воды о берег от упавшего в озеро валуна, — она хлопотала вокруг него, повязала ему голову влажным полотенцем, а он целовал ей руки и называл ее ангелом, а затем, сбиваясь и путаясь, рассказал ей историю, которая вышла с ним в игровой зале, но она сказала, что все это ничего и что, конечно, тот услышал, что Федя назвал его подлецом, потому что слово это хоть и по-русски, но все знают, а если он не понял, так остальные-то поняли, и что вообще с таким подлецом и связываться вообще не следовало, и он снова целовал ее руки, потому что был теперь вдвойне ей благодарен, — но после обеда, когда они пошли пройтись по Lichtentaler Allee, где в этот час прогуливалось много народа, Федя стал задевать плечом встречаемых мужчин, шедших в одиночку или даже с дамами, — плоское лицо господина с оттопыренными ушами, оскорбленного его, снова встало перед ним — теперь он знал, что ему следовало сделать: просто толкнуть его эдак небрежно, но достаточно энергично, чтобы тот упал, или хотя бы просто пошатнулся, или, на крайний случай, чтобы просто почувствовал, что ему даром не прошла его выходка, — незнакомец с плоским лицом и с выпученными бесцветными глазами был вездесущ — то появлялся из какой-нибудь боковой аллеи, и Федя спешил ему наперерез, чтобы преградить путь, то шагал навстречу своей самоуверенной, чеканной походкой, и его нужно было сбить с этой походки, заставить его напомнить о себе, то обгонял Федю и Анну Григорьевну, и тогда его следовало нагнать и дать ему надлежащий урок, — Анна Григорьевна пыталась удержать Федю, но он все сталкивался с шедшими навстречу добропорядочными немцами или принимался вдруг догонять каких-то незнакомых господ, так что на несколько минут она даже оставалась одна среди этой разнаряженной фланирующей публики, с зонтиком и с кружевной мантильей в руках, подаренной ей мамой и через несколько дней заложенной Федей после очередного проигрыша, — в конце концов ей удалось увлечь его в одну из боковых аллей, где народа почти не было, а оттуда они пошли на музыку, — на немецкий курортный город Баден спускался июльский вечер, где-то вдалеке, над Шварц-

вальдами или Тюрингенами, нависли фиолетовые тучи, за которыми уже совсем где-то далеко вспыхивали зарницы, а ближе к городу, на окружающих его холмах, покрытых темной растительностью, виднелись Старый и Новый замки, сложенные из красного кирпича, с зубчатыми башнями, и еще какие-то старинные рыцарские замки, — спустя несколько дней Анна Григорьевна бежала вверх по каменным ступенькам замка, не то Старого, не то Нового — она убегала от Феди, который, проигравшись, стал бы просить у нее последнюю оставшуюся монету, которую следовало уплатить хозяйке, потому что их могли бы просто согнать с квартиры, — она бежала по лестнице как-то необычайно легко, словно у нее под сердцем не было ни Сонечки, ни Миши, но когда добежала до третьей площадки, ей сделалось нехорошо, сильно заболел живот и затошнило, так что она принуждена была сесть на скамейку, и все проходившие мимо оглядывались на нее, потому что видели, что она почти в обмороке, а когда Федя разыскал ее, он снова упал перед ней на колени, прямо тут же, на площадке, на глазах у всех, и она закрыла лицо руками, чтобы ее не видели посторонние и потому что тошнота подступила к самому ее горлу, — он бил себя кулаками в грудь и говорил, что сделал ее несчастной, но ее это уже не пугало, как прежде, потому что она привыкла к этому, — она дала ему монету, хотя знала, что он ее проиграет, а пока они сидели на лугу возле здания вокзала и слушали австрийскую музыку, — играли «Эгмонта», и было что-то в этой музыке созвучное громоздящимся вдали горам с нависшими над ними фиолетовыми тучами, подсвечиваемыми отблесками зарниц, — оба они взбирались по круче, она — легко и быстро, следуя прихотливым изгибам тропинки, вьющейся среди кустарника, скал и развалин рыцарских замков, он — по отвесному, почти неприступному склону — камням и ледникам, на которые никогда еще не ступала нога человека, соскальзывая, падая, снова поднимаясь, оставляя где-то внизу и позади себя море хохочущих голов и пляшущих фигур, показывающих на него пальцем, — иногда тропинка, по которой она взбиралась, переходила в лестницу с каменными или даже деревянными ступенями, похожая на ту, которая вела к Старому замку — она бежала по ступеням вверх, почти не отдыхая на площадках, а только оглядываясь, чтобы посмотреть на открывающийся внизу величественный ландшафт, и затем снова поднималась по тропинке, протоптанной среди скал и альпийских лугов с белыми цветами, названия которых она не знала, — из-под его ноги с грохотом катились камни и огромные льдины, увлекая в своем падении еще большие камни и глыбы льда, производя обвал в горах, шумный, грохочущий, с многоголосым эхо, многократно повторяющимся и отдающимся в предгорьях, заглушающим собой голоса хохочущей толпы, толпы знакомых лиц, слишком знакомых, толпы, которая, хотя и была повержена, однако продолжала хохотать и бесноваться в своем тупом упорстве и непонимании, указывая на него огромным перстом, образовавшимся из слияния множества других перстов, грубым и вымазанным в грязи, напоминая собой перст одного из толпы в картине «Поругание Христа», которую он видел в Дрездене, но не запомнил имени художника, написавшего ее, — Христос в терновом венце, похожем на колючую проволоку, сидел на ступенях в позе отрешенной и задумчивой, опершись локтем о колено, так что рука его с длинной и узкой кистью безжизненно свисала вниз, а один из толпы, крепкий мужлан с лицом бургера, отвисшими пунцовыми щеками и таким же пунцовым носом-картошкой, указывал на него своим коротким и волосатым пальцем — в сидящего на ступенях летели палки и камни, и кто-то плюнул ему в лицо, на котором были уже заметны следы побоев, но которое сохраняло свое выражение глубокой и отрешенной задумчивости, а чернь, окружавшая его, бесновалась и гоготала, но этот гогот, сливавшийся с хохотом толпы, состоящей из знакомых лиц, заглушался теперь гулом падающих камней и глыб льда и многократно повторяющимся эхом, а он поднимался все выше и выше, преодолевая страшную крутизну, к самой вершине

горы, где в фиолетовой туче, прорезаемой вспышками молний, был скрыт хрустальный дворец — это мечта человечества и его собственная мечта, взлелеянная им и глубоко затаенная, так что он даже нарочно обсмеивал эту мечту, но этот горный обвал, заглушающий причитания и хохот беснующейся толпы, и удары грома, обрушивающиеся из фиолетовой тучи, вселяли в него веру в осуществимость этой мечты, а видение картины неизвестного художника ясно подсказывало ему путь, которым следовало идти, и он уже был на этом пути, взбираясь по отвесной круче, — торжествующие звуки музыки — литавр, валторн и фанфар — лились с возвышения, на котором играл оркестр, — отголоски горного обвала иногда достигали ушей Анны Григорьевны, но путь ее был по-прежнему свободный и легкий, по ровной тропинке или по ступеням лестницы, и только в одном месте дорога ее пересеклась с его дорогой — там, где тропинка нависла над самой кручей, по которой взбирался он, цепляясь за каменистые породы, соскальзывая и падая, в изодранной одежде, с исцарапанными в кровь руками, — она подала ему руку и помогла ему взобраться на тропинку, по которой она шла, и вот теперь они шли вместе, рука об руку, — мелодия, которую вели валторны и флейты, была все еще торжествующей, но уже угадывалась в ней какая-то усталость или, скорее, надломленность, они сидели рядом на скамейке, слушая музыку, он — в своей любимой позе, положив ногу на ногу, обхватив руками колена, с увлажнившимися или, может быть, еще не высохшими от слез глазами, она — чуть подогнув ноги, чтобы не было видно ее потертых сапог, требующих ремонта, зябко кутаясь в свою мантилью, — на секунду взгляды их встретились, он взял ее руку и нежно погладил, — вокруг площадки, на которой помещалось возвышение для музыкантов и стояли скамейки для публики, горели фонари, но было еще вполне светло, и двойной этот свет создавал какую-то неверную и призрачную картину, в которой что-то было не довершено или что-то не начато, а ночью, когда он пришел прощаться с ней и они поплыли, встречное течение стало сносить его в сторону, и он почувствовал, что тонет. Она пыталась помочь ему, то заплывая вперед, оглядываясь на него, приглашая его последовать за собой, то подплывая к нему совсем близко, вплотную, заглядывая ему в глаза, протягивая к нему руки, почти поддерживая его, то ныряя куда-то вглубь зеленой волны, стараясь испугать его своим исчезновением, — его продолжало сносить, неумолимо и быстро, — он почти не боролся, — вода все чаще смыкалась над ним, из ее зеленой колышущейся массы проступало плоское лицо с выпуклыми бесцветными глазами — лицо это набухало, раздувалось, словно наполняемый воздухом шар, становясь багровым, превращаясь в слишком хорошо знакомое лицо с рысьим взглядом, и десятки, сотни рук тех, кто накануне стоя у подножия горы, хохоча и беснуясь, указывал на него, тянулись теперь к нему, наподобие щупалец гигантского скорпиона, — он сделал несколько последних, отчаянных усилий, но тело его безвольно обмякло — он быстро и неотвратно шел ко дну.

Он лежал, бессильно откинувшись на подушку, закрыв глаза, а она, приподнявшись на локте, вытирала пот с его лба. Вокруг головы его, тонувшей в подушке, образовались складки, расходящиеся в виде лучей, как на картине Крамского, изображающей его на смертном одре, но в лице его не было ни строгости, ни умиротворения.

\* \* \*

Фиолетовые тучи, висевшие над Шварцвальдами и Тюрингенами, истратив свои электрические заряды, превратились в обыкновенные серые облака, которые медленно напоззли на Баден, сея мелкий дождь на его островерхие крыши и покрытые клинкером улицы, — лето перевалило за свою вторую половину, и хотя впереди было еще

немало жарких дней, Анна Григорьевна, обрадовавшись этой передышке, принялась за починку белья и платьев, сидя на кровати со своим рукоделием, по привычке пряча свои ноги в стертых башмаках и надеясь, что плохая погода сможет ускорить их отъезд. Федя по-прежнему курсировал между домом и вокзалом, иногда принося домой рейнглоты, виноград и сливы, мокрые от дождя, пряча их за спиной, чтобы удивить и поразить Анну Григорьевну, чаще же падая перед ней на колени, называя ее ангелом, прося у нее прощения за то, что делает ее несчастной, — она отрывалась от шитья, молча с подавленным вздохом подходила к комоду и отдавала ему последние фридрихсдоры, гульдены или франки — он ненавидел ее в эти минуты и сердился на нее, когда она кашляла или чихала, потому что это были ее деньги, деньги ее матери, и она безропотно и кротко отдавала их ему, подавляя его своим благородством, — он снова падал перед ней на колени и говорил, что он украл ее деньги, что она должна его ненавидеть, но только еще больше ненавидел ее и себя — она чихала нарочно и кашляла нарочно и сидела, как швея, дома, не желая выходить с ним на улицу, — что ж за беда, что дождь, ведь у них еще пока есть зонты — он произносил эту фразу с нажимом на словах «пока еще», как будто это не по его вине они сидели без денег, — потом, вдруг увидев, с какой прилежностью, даже чуть высунув кончик языка, она зашивала свое потершееся платье, он преисполнялся чувством умиления и жалости к ней, и целовал ей руки и край ее юбки, и снова становился на колени — теперь уже от всей души — и нежно гладил ее плечи и затылок, над которым были приподняты ее волосы, собранные в тяжелый узел, что делало ее несколько старше и, возможно, даже мудрее, — на волосы ее, даже когда она не выходила из дома, почти всегда была наброшена косынка, легкая и прозрачная и в то же время черная, словно она носила траур по кому-нибудь, — гипюровая косынка — он всегда просил снять эту косынку, но она почему-то делала это с неохотой, — стоя возле нее на коленях, он гладил ее волосы, погружая в них руки, глаза ее смотрели на него тяжеловато, чуть исподлобья, и он называл ее «букой», но иначе она не умела смотреть, даже на него, — отложив в сторону шитье, опершись подбородком на ладони, она тяжело вздыхала и в задумчивости гладила его по голове, словно ей было известно что-то неведомое ему, и она старалась уберечь его от этого — он почти не выигрывал теперь ни на *pair*, ни на *impair*, ни на *rase*, ни на *manque*, хотя ему удавалось уложиться в те же 1457 шагов, несмотря на дождь и ветер, мешавшие ему идти, — войдя в здание вокзала, отдавая шляпу и мокрый зонт швейцару, а затем поднимаясь по лестнице и входя в игорную залу, он с бьющимся сердцем высматривал незнакомца, но незнакомца не было, и он облегченно вздыхал, потому что не был уверен, что, встретив его, решится с ним даже столкнуться плечами, — желтый свет люстры падал на лица игроков и любопытных, толпившихся вокруг стола, — он протискивался к столу — на мгновение его охватывало чувство, подобное тому, которое он испытывал когда-то в молодости, усаживаясь за свежесервированный стол где-нибудь у Доминика или Лерха на Невском, куда они ездили шумной компанией, — в особенности легко и молодцевато он чувствовал себя после второй рюмки шампанского, когда казалось, что все еще впереди: и веселые тосты, и черная икра в серебряных бочонках, и смех, и, возможно, даже поездка «туда», — фрак сидел на нем отлично и свеженакрахмаленное белье приятно холодило тело, и он чувствовал себя центром внимания, средоточием всего — он старался произнести какой-нибудь особенно остроумный тост, чтобы уже совсем окончательно покорить всех, — однажды, когда он служил еще по инженерному ведомству, он и еще пять-шесть чиновников решили по какому-то поводу сложиться и поехать в ресторан, — был с ними один столоначальник, которому он непосредственно подчинялся, — человек туповатый, но многосемейный, всегда нуждавшийся и к тому же находившийся под каблуком у своей жены, которая отбирала у него все деньги до копейки, — случилось так, что он присутствовал при сговоре поехать и высказал желание участвовать, но денег не внес, ска-

зав, что отдаст после, однако, никто в это особо не верил, потому что уже по прежнему опыту знали, что он не отдаст, — взяли его, пожалуй, больше из озорства, — Федя был в этот вечер в особенно хорошем расположении духа — метрдотель подошел именно к нему, чтобы договориться, как обслуживать компанию, в соседнем кабинете за перегородкой слышались веселые голоса и женский смех, и если чуть привстать, можно было увидеть высокие прически дам, их лица и даже оголенные плечи — выпитый бокал шампанского придал ему еще больше уверенности, и в голове он уже сочинил остроумный тост, которым он собирался поразить всех, но столоначальник его, до этого сидевший молча, вдруг пожелал сам провозгласить тост — поднявшись, весь красный от напряжения, он стал долго и нудно говорить о пользе службы для отечества и что-то еще в этом роде, — все переглядывались, подмигивая друг другу, — когда все выпили, Федя, раздосадованный тем, что его тост перебили, но внутренне все еще гарцуя, сказал: «Легко поднимать бесплатные тосты», — он бросил это как бы мимоходом, больше обращаясь к своему соседу, вялому белесоватому молодому человеку, работавшему вместе с ним в подчинении у этого же столоначальника, — он даже не придал особого значения тому, что сказал, пока сосед этот, улучив момент, не прошептал: «Как это ты его так, а?» — но Федя не заметил в его тоне никакого укора, а только лишний раз убедился в своем остроумии, которое было настолько блестящим, что он даже сам его не замечал, а другие подхватывали его фразы прямо на лету, и завтра уже весь департамент будет повторять его необыкновенную остроуту, — на следующий день столоначальник вызвал его к себе в комнату и стал выговаривать ему за какой-то чертеж, будто бы неправильно сделанный им, — Федя доказывал ему, что в чертеже все было верно, и сильно разгорячился при этом, — тот сидел за своим большим письменным столом, положив на него локти, весь красный, словно он снова только что выпил шампанского, тупо глядя на чертеж, лежавший перед ним, но когда Федя, считавший себя победителем в этом споре, хотел было уже выйти из комнаты, тот, не поднимая головы, все такой же красный, словно его сварили, сказал ему: «Подождите минуту», — голос его сел и был хриплым, — «Вчера, после этой вашей фразы, я не знал как себя вести. Мне следовало отхлестать вас по щекам, но я не сделал этого», — Федя стоял перед ним, онемев от изумления, чувствуя, как забилося его сердце и как к голове и к ушам его прилила кровь, словно его только что отхлестали по щекам, — тот сидел, широкий и плотный, опустив голову, словно бык, который собирался бодаться, посверкивая своими маленькими черными, как уголь, глазами, и Федя вспомнил, что тот рассказывал как-то, что в роду у него были какие-то не то черкесы, не то грузины, от которых он унаследовал горячий нрав и мстительность, но никто в это не верил, считая, что единственной чертой его была тупость, и вот сейчас, может быть, впервые в своей жизни он проявил свой норв — на секунду Феде даже стало жаль его, когда он представил себе, что тот должен был чувствовать вчера, и вместе с тем Федя испытал невольное уважение к нему и даже какой-то смутный страх, — он пробормотал что-то извинительное, как он это сделал несколько дней назад в вокзале во время истории с незнакомцем, — «Вы свободны, идите», — сказал ему столоначальник, и Федя впервые, может быть, за время своей работы в департаменте осознал, что этот немолодой плотный туповатый человек является его начальником, и с этих пор жизнь его в департаменте сделалась невыносимой, — первые две, а иногда даже три ставки он брал, и знакомая карусель из играющих и любопытных вихрем кружилась вокруг него, и он снова взбирался по отвесной круче к заветной вершине с хрустальным дворцом, а где-то внизу знакомые фигуры водили свой жалкий хоровод, но затем он начинал проигрывать, и чем более пытался он держаться какой-то системы, тем более проигрывал, — отбросив всякую систему, он снова проигрывал — он бежал домой, чтобы взять деньги и еще раз попробовать, но почти сразу же все спускал и снова

бежал домой за деньгами — все это было похоже на то, что в медицине называют раздражительной слабостью, когда каждая попытка вызывает еще больший срыв и одновременно еще более неотступное желание повторить попытку, а когда кратковременный период дождей закончился и краснокирпичные островерхие дома и просохшие от дождя вымощенные клинкером улицы стали накаляться от беспощадного солнца, жизнь Достоевских в Бадене стала походить на бессонную ночь, когда даже сильно погрузившись в дрему, чувствуешь, как идет время и, вместе с тем, конца этой ночи не предвидится, — сначала Федя заложил свое обручальное кольцо, потом золотые серьги и брошь Анны Григорьевны, которые он подарил ей к свадьбе, и когда он ушел с ними, Анна Григорьевна стала плакать и рыдать, может быть, впервые за все это время и даже ломать себе руки, чего в присутствии Феди она никогда себе не позволяла — по крайней мере, так она пишет в своем «Дневнике», — проиграв деньги, вырученные за брошь и серьги, он принялся за ее кружевную мантилью — ее нигде не хотели брать — сначала он побежал с ней к ювелиру, но тот сказал, что берет только золотые вещи, и указал на какого-то Weismann'a, но дверь у Weismann'a была заперта, и Федя прибежал домой весь измокший от дождя и пота, потому что, несмотря на возобновление солнечной погоды, иногда бывали все же кратковременные дожди, освежавшие улицы и деревья, — после обеда Федя снова побежал к Weismann'у, но Weismann сказал, что таких вещей не принимает, и дал адрес M-me Etienne — магазин ее находился на площади, и хотя Федя бывал на этой площади, он никак не мог найти ее и почему-то все время попадал в переулок, где находилась баня, — наконец он все-таки вышел на площадь, — бумага, в которую была завернута мантилья, расплзлась от дождя, и он прижимал пакет локтем, чтобы мантилья не торчала оттуда, — M-me Etienne он не застал в магазине, но какая-то дама, вышедшая из двери, ведущей в комнаты, сказала, что она сестра M-me Etienne и пусть он зайдет завтра, — он снова побежал домой, потому что сегодня он непременно должен был выиграть, и снова бросился на колени перед Анной Григорьевной — она дала ему свое обручальное кольцо, и он заложил его у Weismann'a, который, по словам Анны Григорьевны, был из жидов, а Федя должен был его дожидаться, — на деньги, вырученные от заклада кольца Анны Григорьевны, Федя выиграл 180 франков — он принес назад два заложенных кольца, свое и Анны Григорьевны, и букет цветов, но это уже был последний вдох перед начинающейся агонией: Федя метался между домом и вокзалом, забегая по дороге к закладчикам или на почту в ожидании денег от Краевского, — одетый в черный берлинский сюртук и такие же панталоны, он проделывал странные движения, то превращаясь в жонглера, обтянутого черным трико, с черным цилиндром на голове и в белых лайковых перчатках, ловко подбрасывающего вверх обручальные кольца, платья и меховую шубку Анны Григорьевны и так же ловко, на лету, схватывающего их, иногда добавляя к этому водовороту предметов свой черный цилиндр, то превращаясь в балетного танцора, тоже одетого в черное трико и исполняющего сложные «па» из дивертисмента на фоне краснокирпичных домов Бадена, передвигаясь путем вращения вокруг своей оси, простирая руки то к небу, то к Анне Григорьевне, — в ответ на его призыв она появлялась откуда-то сбоку, словно из-за кулис, закутавшись, словно Кармен, в свою все еще не заложенную мантилью, в длинной юбке, прикрывающей ее стоптанные башмаки, — при ее появлении он становился на одно колено и, пощелкивая не то пальцами, не то кастаньетами, исполнял что-то вроде серенады, а она, сорвав с себя монисты, бросала их ему — он подхватывал их на лету и продолжал свою серенаду, оглушая ее звуками кастаньет, — она бросала ему свою мантилью, затем, отщелкивая каблуками сношенных башмаков заданный партнером ритм, снимала с себя платье и отдавала ему — вскочив с колена, он подбрасывал в воздух монисты, кольца, платье, мантилью, ловко жонглируя ими, а она в это время заламывала руки

над головой, совершая телодвижения, которые делают обычно восточные танцовщицы, — предметы, которые он подбрасывал, не возвращались к нему — он подбросил вверх свой цилиндр, и тот тоже исчез, затем снял с себя трико, оказавшееся его берлинским костюмом, и тоже запустил его куда-то вверх — они были должны хозяйке за четыре дня, и она вполне могла не прислать им обеда, а Marie, когда Анна Григорьевна попросила у нее утром кипяток, сказала, что дрова жечь даром не годится, — неужели это была та же Marie, громкоголосая девочка-подросток со своим гортанным «Ja», всегда готовая услужить и даже тупая в своем усердии? — впрочем, слуги всегда откровеннее своих хозяев, и по одному лишь взгляду секретарши, мимоходом брошенному на вас, вы можете безошибочно сказать, как относится к вам начальник, — они возвращались домой по Lichtentaler Allee после очередной прогулки, потому что им ничего уже больше не оставалось, кроме как гулять или делать вид, что они гуляют, — Анна Григорьевна не хотела идти по этой аллее в своем затрапезном платье, почти единственном, оставшемся после заклада вещей, но Федя настоял на своем, и ей казалось, что все смотрят на нее, — солнце садилось, освещая гору с видневшимися там Старым и Новым замками, и Федя остановился, чтобы полюбоваться видом, и попросил ее тоже остановиться, чтобы посмотреть на эту картину, потому что это был чрезвычайно редкий момент, когда одновременно освещались оба замка и вершина горы, покрытая зеленью, — еще минута, и замки погрузятся в тень, и исчезнет этот солнечный треугольник, но Анна Григорьевна продолжала идти дальше, как будто бы не было этого освещенного треугольника, образованного двумя зубчатыми башнями замков и вершиной горы, — она шла быстро, даже чуть наклонившись вперед, но когда он крикнул: «Аня!» — она пошла еще быстрее, почти побежала — он бросился вслед за ней — он хотел вернуть ее, хотя бы на несколько секунд, пока еще не было поздно, пока не изменился угол падения солнечных лучей, но, наверно, уже было поздно — момент был упущен, и он не сумел из-за нее полюбоваться этим редкостным видом — он бежал вслед за ней по аллее, тяжело дыша, наталкиваясь на гуляющих, — она свернула в боковую аллею и на минуту исчезла из вида, но потом он увидел ее фигуру, мелькающую между деревьями, и ему показалось, что она закрыла лицо руками, словно она рыдала, — они прибежали домой почти одновременно, но все-таки порознь — она вошла в дом, тяжело дыша, опустив голову, боясь встретить хозяйку, Marie или даже Терезу, тоже служанку, — он же вбежал, еле сдерживая ярость, душившую его, и, как только они оказались в комнатах, он схватил ее за руку и потащил к дверям, но она вырвалась и бросилась на кровать, как была, в платье, не снимая сапог, закрыв лицо руками, — она всегда портила ему самые редкостные минуты его жизни — неужели так трудно было остановиться хотя бы на мгновение и посмотреть на освещенную заходящим солнцем гору? — подойдя к кровати, он силой отвел ее руки от лица — оказывается, она вовсе не плакала — глаза ее были закрыты, и лицо ее имело какое-то отчужденное, почти каменное выражение, — ага, она даже не хотела отвечать ему! — он стал кричать — она закрыла руками уши и стала мотать головой — вправо и влево, а затем, чуть приоткрыв рот, стала нарочно болботать языком что-то невнятное, словно поддразнивая его, — он метался между кроватью и окном, то хватая ее за руки, пытаясь отвести их от ее ушей, то крича, что он сейчас выбросится из окна, — но она ничего не хотела знать и мотая головой, закрыв глаза, продолжала былблывать, — тогда, сбросив с себя берлинский сюртук, он рванул на себе жилет, так что затрещала материя и пуговицы посыпались на пол — без жилета костюм не возьмут в заклад, но это только еще пуще раззадорило его, так что теперь ему хотелось сделать что-нибудь совсем уже непоправимое — задушить ее, — он встал на колени возле кровати и начал с ненавистью всматриваться в ее лицо — она лежала на спине, закрыв глаза, заткнув руками уши, тесно сжав губы, словно желая отгородиться от окружающего ее мира, —

кто-то постучал в дверь соседней комнаты — он вскочил с колен, словно пойманный с поличным, и побежал через соседнюю комнату к двери — это была Marie, — возможно, ее прислала хозяйка, а может быть, она пришла сама, но, увидев жильца с всклокоченной бородой и в разорванном жилете, она только широко открыла рот и тут же убежала, — когда он вернулся, Анна Григорьевна лежала, укрывшись с головой, и потертые сапоги ее стояли рядом с кроватью — один из них даже завалился на бок, и был виден почти наполовину стоптанный каблук — она так и не сумела отдать их в починку, — горячая волна нежности и умиления захлестнула его — он снова опустился на колени возле кровати и стал целовать край одеяла, укрывавший ее лицо, а потом, осторожно приподняв его, увидел, что она спала, — выражение лица ее было спокойное и кроткое, и знакомая желтизна, связанная с ее теперешним положением, проступила на ее лбу и даже на ее щеках, — весь остаток вечера он прошагал по комнатам взад и вперед, зажегши свечу на своем столе, — иногда подходя к Анне Григорьевне и поправляя одеяло, — возможно, он обдумывал свою статью о Белинском, так и не увидевшую свет, однако, скорей всего, его занимали иные проблемы, потому что на следующий день утром, сопровождаемый напутствием Анны Григорьевны, он, крадучись, вышел из квартиры, неся в руке ее сиреневое платье, связанное в узел, — благополучно миновав дверь хозяйки, — потому что ни ей, ни прислуге не следовало его видеть с этим узлом, — он вышел из подъезда и, чуть пригнувшись, прижимая к себе узел и держась поближе к домам, словно цыган-конокрад, побежал по улицам только что проснувшегося Бадена к лавке Weismann'a. Пять талеров, полученных за платье Анны Григорьевны, он тут же проставил, с первого же удара, и хотя в этом было что-то новое, потому что первые два-три удара он обычно брал, его не удивило это и даже не огорчило — он катился теперь под гору все быстрее и быстрее — и в своем безостановочном захватывающем дух падении наткнулся на все, попадавшееся ему по пути, даже не замечая ударов, которые он получал, — выйдя из здания вокзала, он побежал в «Европу», — не различая улиц, не отдавая себе отчета в том, что он делал, — знакомый метрдотель, загораживая ему своей плотной фигурой дорогу, сказал, что господин Тургенев уже съехали, — он не поверил ему и попытался обойти его, нацелившись на широкую мраморную лестницу, устланную ковровой дорожкой, метрдотелю пришлось широко расставить руки, чтобы не пропустить его, словно он гонял кур — «кыш! кыш!» — именно в этот момент появился Гончаров, он спускался по лестнице не торопясь, тяжело неся свою оплывшую фигуру, опираясь на трость с серебряным набалдашником, — увидев Достоевского, он остановился на самой нижней ступеньке лестницы и лениво подал ему свою пухлую руку — сверху вниз, — вяло рассматривая его своими рыбьими глазами, — метрдотель неохотно ретировался, словно пес, загнанный хозяином в будку, — Гончаров молча выслушал посетителя, что-то горячо говорившего ему и даже размахивавшего руками, — вынув кошелек, пыхтя и отдуваясь, словно он поднимался вверх по лестнице, он достал оттуда три золотые монеты и отдал их гостю — коротко поклонившись Гончарову, посетитель почти выбежал из вестибюля и побежал к зданию вокзала. Он проиграл все три золотых, сразу же, даже с какой-то лихорадочной готовностью, словно он был одержим ненасытным желанием проигрыша или играл в поддавки, — быстрота его падения все более захватывала его, — если он не сумел преступить через какую-то черту в своем движении к вершине и катился теперь вниз, то неужели и здесь была какая-то черта, какая-то граница, за пределы которой ему не дано было ступить? — ведь здесь не было никаких внешних обстоятельств — нужно было только отдаться этому движению, этой стихии, и он, закрыв глаза, летел вниз, — знакомые лица, водившие свой хоровод, были теперь уже где-то наверху — усмехаясь, они снова показывали на него пальцами, многозначительно перемигиваясь и ухмыляясь, — Тургенев со своей величественной осанкой и

львиной гривой и с лорнетом, нацеленным на него, Гончаров, отдувающийся после завтрака из шести блюд, Некрасов и Белинский, увлеченно беседующие о каком-то постороннем предмете, Панаев с висячими мокрыми усами и хмельным взглядом, — а там дальше еще фигуры и лица, знакомые и незнакомые — все они переглядывались и подмигивали друг другу, указывая на него, но — странное дело — хоровод их был жалким, — им не дано было испытать этого головокружительного падения, которому он отдался, — унизительно только нечто промежуточное, среднее, цепляющееся за умеренность и благоразумие, — именно такими они были, — только идея, всепоглощающая и захватывающая, раскрепощает человека, делает его свободным и ставит надо всем, даже если средством осуществления такой идеи является преступление, — все эти господа не способны были не только отдаться такой идее, но даже понять ее, все они постоянно что-то рассчитывали и взвешивали, подчиняя свою жизнь меркантильным соображениям, — прибежав домой и упав на колени перед Анной Григорьевной, самозабвенно каясь в проигранных деньгах, он ни на секунду не расставался с этим ощущением захватывающего падения, дававшим ему чувство превосходства над окружающим миром и даже некоторой жалости к окружавшим его, — полчаса спустя он уже бежал по раскаленным послеполуденным улицам Бадена, неся в руке большой узел, в котором на сей раз находился берлинский костюм, который Анна Григорьевна починила в его отсутствие, — Weismann'a не оказалось дома, тогда он побежал к Josef'ю, но сумма, которую назвал Josef, была просто смехотворной — он снова побежал к Weismann'у, — через полчаса, расталкивая любопытных и игроков, — потому что теперь ему было все равно и ему даже хотелось, чтобы его толкнули или оскорбили, — он пробирался к игорному столу — из двенадцати франков, полученных за костюм, он сразу проиграл три — знакомое чувство захватывающего дух падения охватило его — пусть они видят и знают, с какой легкостью и даже радостью он проигрывает, — они, дрожащие над каждым крейцером, рассчитывающие каждое свое движение, — он поставил на passe еще три франка и снова проиграл — он ставил с необыкновенной легкостью и так же легко отгребал от себя проигранные деньги — знакомая карусель вращалась вокруг него — фигуры с желтыми восковидными лицами, словно из кунсткамеры, заложив руки в карманы своих жилетов, нащупывая на дне их какие-то жалкие сантимы или крейцеры, с завистью смотрели на то, с какой легкостью он проигрывал свои франки, — в это время по одной из боковых аллей, в стороне от заполненной расфранченными парами Lichtentaler Allee, одетая в свое штопаное платье, решительными шагами шла, даже почти бежала Анна Григорьевна, — с самого утра она переводила с французского, заноса в специально заведенную для этого тетрадь свои только ей понятные стенографические знаки, — ей надо было готовиться к тому, чтобы добыть хлеб самой, и она сидела за обеденным столом, прилежно высунув кончик языка, делая свои пометки и иногда прикрывая ладонями уши, когда грохот молотов из кузницы, казалось, сотрясал стол, за которым она работала, но сейчас нужны были неотложные и решительные меры, и она, внимательно рассмотрев штопку на подоле своего платья, надев шляпку с воткнутым туда цветком и кинув мимолетный взгляд в небольшое зеркало, где ее встретил хмурый взгляд исподлобья, показавшийся ей очень подходящим к задуманному ею предприятию, неслышно проскользнула мимо хозяйской двери, — подходя к зданию вокзала, она замедлила свой шаг, стараясь придать себе уверенный и равнодушный вид, — поднявшись по лестнице, она сразу же прошла в боковую залу, зная, что Федя первую половину дня обычно играл в главной, — вынув из кошелька один франк, припрятанный ею на самый крайний случай, если бы, скажем, их стали выгонять из квартиры, она, не раздумывая, поставила его на rouge и выиграла, она снова поставила — теперь на poire — и снова взяла — ее охватило чувство, похожее на то, которое испытывает человек, долго не решавшийся вой-

ти в воду, но наконец вошедший и ощутивший всю прелесть купания, — она уже выиграла десять франков, но этого было мало — она стала ставить еще и еще, и кучка франков, лежавшая возле нее на зеленом сукне, стала редеть — она начала проигрывать, — рядом с ней стояла какая-то дама в светлом платье и в шляпке с вуалью — дама тоже играла, но успевала поставить раньше, чем Анна Григорьевна, потому что вуаль ее каждый раз сцеплялась с цветком в шляпке Анны Григорьевны и это мешало ей сосредоточиться — впрочем, возможно, что Анна Григорьевна позаимствовала это от Феди, которому то и дело кто-то мешал во время игры, — в это время Федя, игравший в средней зале, неожиданно взял на *manque*, потом на *rouge* и даже на *zero*, и чем нерасчетливей и бездумней он ставил, поскольку он все еще играл в поддавки, тем вернее выходил выигрыш, — в какой-то момент он даже подумал, что, может быть, в этом и состоит система — играть вот так, бессистемно, но мысль эта только промелькнула — лица играющих и любопытных снова закружились вокруг него, хотя он их теперь почти не замечал, — это была *настоящая* карусель, вращающаяся с бешеной скоростью, так что все лица игравших и любопытных сливались в сплошную желтую полосу, но он чувствовал, как отвисли их челюсти от удивления и с какой завистью, *настоящей* завистью, смотрели они на то, как он брал ставку за ставкой, небрежно загребая выигранные деньги, — как им было теперь далеко до него! — он снова поднимался в гору, и знакомые лица, водившие свой хоровод, теперь уже были где-то внизу, а на вершине горы, покрытой облаками, проглядывал знакомый хрустальный дворец — он поставил на *zero* и сразу спустил почти половину выигранной суммы, поставил на *rouge* и снова проиграл — вокруг него все как-то сразу потускнело, на лицах, окружавших его проглядывала теперь еле сдерживаемая радость, карусель вращалась теперь только по инерции — он снова летел с горы, больно ушибаясь и чувствуя, что ему не за что ухватиться, — вся его теория с падением ничего не стоила — он просто придумал ее, чтобы сделать не столь болезненными свои ушибы, представив их себе и другим в ореоле какой-то великой идеи и жертвенности, — впрочем, не поступаем ли и мы подобным образом, то и дело обманывая себя, придумывая удобные теории, призванные смягчить удары, наносимые нам судьбой, или оправдать наши неудачи и слабости? — не в этом ли кроется разгадка так называемого перелома, который произошел с Достоевским на каторге? — болезненное самолюбие его никогда не сумело бы смириться с теми унижениями, которым он подвергался там, — выход был только один: считать эти унижения заслуженными — «Я несу крест и заслужил его», — писал он в одном из писем, — но для этого следовало представить все свои прежние взгляды, за которые он пострадал, ошибочными и даже преступными, — и он сделал это, неосознанно, конечно, — сама охранительная природа человеческой психики, особенно психики человека не слишком сильного духом, не способного дать пощечину Кривцову, как это сделал один из заключенных, или отомстить своим обидчикам, сама природа его психики сработала, сделал это за него, не только не сообразуясь с доводами разума, но в корне изменив, приспособив их к себе, и только лишь иногда, в крайние минуты своей жизни, словно вольтова дуга в темноте, вспыхивали притоптанные и загашенные видения и образы, озаряя своим безжалостным светом картины и сцены каторжной его жизни и ссылки, и тогда он содрогался и вступал в мысленное единоборство со своими обидчиками, но даже и тут оказывался побежденным, и точно такое же спасительное для его духа чувство вины испытал он во время той истории на рулетке с незнакомым господином — в меньшей степени это касалось его отношений с панаевцами, но и здесь порой подделываясь к Тургеневу и даже восхищаясь им, он делал это ненароком, искренне, подсознательно охраняя свое самолюбие и свою гордость, но здесь было проще, потому что единоборство могло происходить здесь в сфере интеллектуальной и духовной, в его сфере, но даже здесь видения и картины его

попранного самолюбия не оставляли его — за окном, покрытым серовато-грязной пеленой снега, извивающейся красной змейкой проскочила неоновая надпись: «Ижорский завод» — Ижоры — это был уже почти Ленинград, его пригороды, его дачи, его окраины, населенные светловолосыми чухонцами с невыразительными бескровными лицами — впрочем, мне больше хотелось так думать — «Подъезжая под Ижоры...» невольно вспомнил я пушкинскую строку, которую я почему-то всегда вспоминал в этом месте — дань штампу мышления, ничего не поделаешь, — почему-то вслед за этим обязательно приходила мысль, что Пушкин ел здесь пожарские котлеты, — возможно, это связано с близостью созвучий в словах «Ижоры» и «Пожарские», а может быть, он действительно ел там Пожарские котлеты, ожидая перекладных и небрежно флиртуя с дочерью станционного смотрителя, а по столбовой дороге, ведущей в Петербург, в сгущающихся сумерках мела поземка, и вот уже, звеня колокольчиками, катится санная тройка с ямщиком на облучке, подстегивающим бодро бегущих лошадей, под полозьями скрипит снег, а в санях, укрывшись меховым пологом, мчится в Петербург сам Александр Сергеевич, радостно возбужденный выпитым вином, красотой смотрительской дочери, предвкушением петербургских балов и предстоящим свиданием с какой-нибудь очередной светской красавицей, с которой он еще накануне завел интрижку, и в голове его сами собой складываются строки и строфы, которые потом будут перепечатываться из одного собрания сочинений в другое, и десятки пушкиноведов будут анализировать ритмы и размер этих нескольких строф и выяснять, споря до бешенства и изнеможения на литературоведческих семинарах, точную дату, побудительные мотивы и предмет посвящения этих стихов, — ах, Пушкин! Пушкин! до чего ты засел в сердцах и умах, — эдакий смуглый кудрявый арапчонок с чуть выпуклыми голубыми глазами (о цвете волос Пушкина споры среди пушкиноведов до сих пор еще не утихли), затем зрелый Пушкин с кудрявыми волосами и с суживающимся книзу лицом, покрытым не слишком густыми бакенбардами и слегка обросшим, что придает лицу не слишком опрятный вид, и, наконец, Пушкин, портрет которого висит в доме на Мойке, — с изможденным бледным лицом и с прядями волос, прилипшими к мокрому лбу, похожий на затравленного зверя, — таким он, наверное, был в последние месяцы своей жизни, а может быть, и в последние дни накануне дуэли — ах, этот Пушкин, погибший из-за своей холодно-расчетливой жены, не стеснявшейся шнуровать корсет в присутствии лакеев и даже владельца книжной лавки, которого она вызвала к себе в будуар, чтобы выторговать у него лишние пятьдесят золотых за стихи мужа! — ах, Пушкин! Пушкин! Дон Жуан, насмешливый, пламенный, почти бретер, паливший из пистолета в голом виде в номере кишиневской гостиницы, а затем разгуливавший по городу в каком-то красном колпаке, Пушкин, отрастивший себе ноготь на мизинце, словно какой-нибудь пошлый жуир или конторский служащий, Пушкин, едва достигавший ростом до середины совершенного по своей форме уха своей жены и тем не менее брюхативший ее каждый год, что не мешало ему жестоко и не всегда без основания ревновать ее, — если бы я был художником, я бы написал картину, которую назвал бы: «Свадьба Пушкина со смертью», где Пушкина я изобразил бы в реалистической манере, а Гончарову — в виде причудливо изгибающихся линий, каждая из которых призвана символизировать определенные части тела — руки, ноги, голову или торс — эдакое хитросплетение, совершенно искажающее наше представление о пропорциях человеческого тела, — не так давно я видел подобные картины в квартире одной художницы-модернистки, увлекающейся рисованием таких женских фигур, чрезвычайно похожих одна на другую и, по-видимому, призванных изображать какое-то дьявольское или даже сатанинское начало, — обозначающие руки и ноги и многократно обвивающие вокруг такого же условного тела и головы и оканчивающиеся в виде щупалец или просто сплетающиеся между собой, могут быть просле-

жены только с помощью создательницы этих картин, держащей в руке указку, словно преподаватель географии, показывающий ход изотерм или изобар, и все же неплохо, чтобы во время свадьбы Гончарова обвивала шею реального Пушкина одной из таких страшных линий — это был бы уже почти Пушкин в объятиях спрута, — впрочем, может быть, все это крайне наивно, но после посещения квартиры этой художницы меня не раз одолевала мысль о такой картине, и при следующем посещении ее студии я попробовал подсказать ей такую тему, но она сказала, что Пушкин вообще ее не очень волнует, как, впрочем, и меня, и мне это было очень приятно, потому что я почти уже не нахожу людей, которые бы не считали Пушкина своим кумиром — особенно женщины и, прежде всего, поэтессы, начиная от Марины Цветаевой, писавшей про него: «Страх мужей, услада жен», — посвятившей ему целую книгу, тайно и явно влюбленной в него и кончая Ахмадулиной, воспевающей его в своих туманных сомнамбулических стихах, но, вероятно, вряд ли найдется еще такой страстный и яростный почитатель Пушкина, каким был Достоевский, для которого Пушкин, возможно, был той же недостижимой мечтой-антитезой, что и Ставрогин, олицетворяя собой гармонию духа (возможно, кажущуюся), высокое понятие чести (знал ли Достоевский, как Пушкин верноподданнически кланялся графу Орлову в Мариинке?), силу и постоянство характера (было ли известно Достоевскому, что декабристы не очень доверяли Пушкину, считая его человеком неустойчивым и болтливym?) и, наконец, хладнокровие обольстителя, всегда добивающегося успеха (здесь в скобках нечего добавить), поскольку совершенство Пушкина в этой сфере было действительно неоспоримо, — возможно, впрочем, что антитеза была и в другом — прозаик Достоевский был, может быть, самым страстным поэтом и романтиком своего времени, в то время как Пушкин-поэт был, может быть, самым трезвым реалистом, — главное же, вероятно, заключалось в том, что жили они в разное время, благодаря чему Достоевскому удалось избежать какой-нибудь едкой эпиграммы поэта, которая уж, без сомнения поставила бы Пушкина в один ряд с литературными врагами Достоевского, а может быть, выдвинула бы его даже еще и на особое место, — проиграв почти все, с несколькими оставшимися франками Федя направился из главной игровой залы в боковую, где он, к своему удивлению, увидел игравшую Анну Григорьевну — сначала он даже решил, что обознался, — но это была она, в своей фиолетовой шляпке с цветком, и рядом с ней стояли какие-то чужие мужчины во фраках и несколько дам — он протиснулся к игорному столу, подошел к ней, но она, видимо, только что поставила, потому что неотрывно и напряженно следила за быстрым движением метавшегося шарика, — он взял ее за руку — рука ее была холодная — она вздрогнула и, увидев его, побледнела, но ему почему-то вдруг стало удивительно весело и смешно, — «Жена-игрок» пришло ему в голову, и одновременно знакомое чувство нежности и жалости к ней охватило его — она решила даже на это, чтобы как-нибудь выправить, спасти их положение, — держа ее за руку, он отвел ее в сторону от стола — в глазах ее стояли слезы стыда и досады, но она смотрела на него все так же исподлбья, как всегда, — «эдакая бука» — он нежно погладил ее руку — они вышли из здания вокзала и, не сговариваясь, пошли по боковой аллее по направлению к горам — она, опираясь на его руку, а он, то и дело заглядывая ей в глаза, теперь уже высохшие от слез, со светившейся в них улыбкой — он несколько раз повторил фразу: «Жена-игрок, ай-ай!» — и ей самой стало смешно и весело — они вышли на поросший кустарником откос и стали не торопясь взбираться на гору по направлению к Старому замку, — когда они вышли на лестницу, ведущую вверх, Федя до того развеселился, что стал пританцовывать и каким-то особым образом притоптывать, сказав, что он таким образом исправляет свои каблучки, которые неравно стоптаны, а нужна симметрия, а потом, уже наверху, когда они пошли по направлению к замку, он принялся измерять число шагов до каждой

скамейки, попадавшейся им по пути, — подходя к намеченной скамейке, он то удлинял свои шаги, то укорачивал их, так что это были уже не шаги, а шажки — ему нужно было обязательно уложиться в определенное число, а число это не выходило, и это не предвещало ничего хорошего, но Анна Григорьевна не знала этого и думала, что он просто дурачится, — кончив свою затею со скамейками, он вдруг встал в театральную позу: опустившись на одно колено и размахивая одной рукой, словно приветствуя кого-то, — эту позу он принял, услышав шум приближавшегося экипажа — вероятно, он что-то загадал или решил выдержать себя, но экипаж оказался пустым — только один кучер, сидевший на переднем сидении и почти спавший, и Федя с Анной Григорьевной долго смеялись этому происшествию, а потом они стали взбираться по узкой витой лестнице, пока не достигли самой верхней площадки замка, — Анна Григорьевна почувствовала усталость и присела на скамейку, с которой открывался прекрасный вид на Рейн и Баден, а Федя подошел к краю площадки и закричал: «Прощай, Аня, я сейчас кинусь!» — где-то далеко внизу живописно извивался голубой Рейн и распростерся Баден с его готическими церквями, островерхими черепичными крышами и густой зеленью садов и парков — вон там, левее краснокирпичной кирхи, среди зелени, виднелось белое, словно игрушечное, здание вокзала, где под желтым светом люстр, в табачном дыму, ставились и проигрывались деньги и протягивающиеся руки жадно загребали их, но все эти играющие походили больше на марионеток из кукольного театра — кто-то невидимый дергал невидимые нити, и марионетки во фраках с желтыми восковидными лицами странно дергались, совершая свои неестественные движения, — как все это было разительно не похоже на огромный простор, открывающийся его взгляду с края площадки! — почти на одном уровне с ним проносились ласточки, а где-то еще выше, на уровне скал, нависших над замком, парили какие-то большие птицы — может быть, горные орлы, а может быть, ястребы, а еще выше синело небо, переходя даже в какую-то космическую черноту, так что казалось, что сейчас появятся звезды, и он почувствовал странное желание оторваться от площадки, на которой он стоял, и воспарить куда-то вверх к этому сине-черному небу, слиться с ним, слиться с иными мирами, возможно, еще только зарождающимися или только что родившимися, но уже обитаемыми человечеством, переживающим свой золотой век, — Анна Григорьевна стояла теперь рядом с ним, крепко держа его за руку, и лицо ее было бледно — он отвел ее на скамейку и, бросившись перед ней на колени, стал целовать ей руки — как мог он забыть о ней и о Мише или Соне, заставив ее подниматься так высоко и пугая ее своими нелепыми криками? — на обратном пути они зашли на почту и спросили писем — письмо было на имя Анны Григорьевны, и в него были вложены сто рублей, которые прислал ей Ваня, ее брат, — теперь они могли отдать долг хозяйке и не прятаться больше от нее, и можно было выкупить брошь, серьги, обручальные кольца и вещи и наконец уехать из этого проклятого места. Они решили, что уедут на следующий день, и, придя домой, Анна Григорьевна принялась за укладку чемоданов, а Федя пошел обменять деньги, чтобы выкупить брошь, серьги и обручальные кольца, но, когда чемоданы были уже почти упакованы и Анна Григорьевна решила выйти погулять, чтобы встретить Федю, она вдруг обнаружила, что нет ее шиньона, — она еще вчера носила его и только сегодня, идя в вокзал, решила не надевать его — наверное, это скверная Marie украла или нарочно спрятала его, — однажды уже была такая же история с ее панталонами — она все обыскала, но потом вдруг нашла их в самом нижнем ящике комода, куда их, без сомнения, подложила Marie, — теперь эта негодница Marie припрятала ее шиньон в отместку за то, что она и Федя не дали ей как-то груш, а дали Терезе, и это было два раза — она позвала Marie, но Marie сказала, что видела шиньон накануне и что, наверное, Анна Григорьевна его потеряла, а когда Анна Григорьевна попросила у нее утюг, Marie сказала, что сама гладит, и

Анна Григорьевна должна была молча снести это оскорбление, и как раз в это время явился Федя — он был бледен и, привычно упав на колени, сказал, что проиграл деньги, которые Анна Григорьевна дала ему на выкупку броши, серег и колец, — надо было спасти оставшиеся деньги, и Анна Григорьевна с неизвестно откуда взявшейся силой подняла Федю с пола и сказала, что они сейчас вместе идут к Weissman'у, потому что она ему больше не доверяет, и Федя принял это как должное — они побежали по вечерним улицам Бадена к WeiЯman'у, боясь не застать его, но он еще был у себя в лавке — они выкупили у него костюм, серьги, брошь и кольца и пошли не торопясь домой, хотя мысль о шиньоне не оставляла Анну Григорьевну, — придя домой, Федя снова упал на колени — он просил десять франков, только десять, чтобы попробовать еще один раз, единственный, последний — такого случая никогда больше не представится, ведь они уезжают отсюда, и в этот самый последний раз он должен был выиграть, хотя бы небольшую сумму — пусть всего только десять франков, — равную той, которую он просил у Анны Григорьевны, но, главное, выиграть беспрочно, не проставив ни одного франка, — тогда бы он уехал со спокойной душой отсюда, потому что последнее слово было бы за ним, последний удар был бы его, и тогда все бы это имело вид равнобедренного треугольника, пусть с очень острыми боковыми углами и с тупой вершиной, но зато с вершиной, хоть с какой-то вершиной, — иначе все это было бы похоже на обычную, ничем не завершающуюся горизонталь, — получив десять франков, почти споткнувшись о небольшой порожек двери, он побежал по темным улицам, затем, задыхаясь от поспешности и волнения, выбежал на пустынную Lichtentaler Allee, направляясь к зданию вокзала, а Анна Григорьевна в это время занималась поисками шиньона и переупаковкой одного чемодана, потому что туда должны были войти три тарелки, чашка и блюдо, — Федя вернулся с наигранно-попаникшим видом и с большим пакетом абрикосов, который он держал за спиной, — он выиграл с первого же удара, потом поставил на passe и снова выиграл — больше он не играл, он поставил точку — глаза его излучали спокойствие и радость, так что он даже вначале не обратил внимания на рассказ Анны Григорьевны о пропаже шиньона, о ее подозрениях, падавших на Marie, и о грубости Marie, но когда он стал уговаривать Анну Григорьевну съесть абрикосы, которые он тщательно вымыл и разложил на тарелке, а она почему-то отказалась от них и снова принялась за поиски злополучного шиньона, выдвигая ящики комода, он вдруг ощутил прилив страшного раздражения, чем-то походившего на мучительную изжогу, — она обязательно должна была ему испортить этот радостный момент его жизни, это торжество, пусть мелкое, ничтожное, но торжество, — из-за какого-то несчастного шиньона он не мог теперь полностью ощутить радости бытия — он специально бегал за абрикосами на другой конец Бадена, потому что все лавки уже были закрыты, и еле уговорил какого-то немца, уже запиравшего свой магазин, продать ему эти абрикосы для больной жены — «für meine Nebe kranke Frau» — так он и сказал, желая разжалобить немца, тем самым унижившись перед ним, а она даже не спросила его, где он достал их так поздно, и все искала этот проклятый шиньон, — он стал кричать ей, что она мелочная и всегда все портит ему, что шиньоны носят вообще только старые девы, она перестала искать, выпрямилась и посмотрела на него — она смотрела на него в упор, исподлобья, но в глазах ее не было не только слез, но даже и укора, а были вызов и холодное отчаянье человека, решившегося на что-то, — «Я уезжаю завтра одна, рано утром, а вы как хотите», — она сказала это изменившимся чужим голосом и, подойдя к чемоданам, нагнувшись, стала выкладывать оттуда его вещи — костюм, белье, платки — на его кровать, и то, как она делала это, не оставляло сомнения в ее решимости — такой он еще никогда ее не видел — это был чужой, незнакомый ему человек — молодая женщина с усталым, почти изможденным лицом, непонятно каким образом оказавшаяся в одной комнате

с ним, — нет, наверное, все это почудилось ему — ведь эта женщина должна была стать матерью его детей, их детей, и еще только сегодня, несколько часов назад, она подошла к нему, когда он стоял на краю пропасти, взяла его руку, настойчиво и нежно, и увела его от этого края, как будто он и впрямь собирался броситься вниз, — значит, она любила его, — она продолжала все так же спокойно переупаковывать чемодан, выкладывая его вещи, — он на секунду представил себе, как она уезжает и он остается один в этих двух комнатах, обставленных скупой хозяйской мебелью, с оглушительным плачем детей, доносящимся откуда-то сверху, и с таким же оглушительным стуком кузнечного молота со двора, и как он возвращается откуда-нибудь и входит в пустые комнаты, и никто не радуется его приходу и не торопится напоить его чаем, а ночью, проснувшись, он подходит к ее кровати, чтобы попрощаться с ней, и ощупывает одеяло и постель, но постель пуста — она продолжала выкладывать какие-то вещи, затем снова подошла к комоду, даже не удостоив его взглядом, — «Аня, ты с ума сошла!» — он упал на колени и пополз к ней, схватил ее руку, прижал к губам, — она все так же спокойно взяла свою руку из его руки, и вот это-то спокойствие и было самым пугающим, — он вскочил на ноги, он хотел повернуть ее лицо к своему, посмотреть в глаза, но внезапно пол качнулся под ним, и он вместо ее лица, которое он ожидал увидеть, потому что он точно помнил, что взял руками ее голову, он увидел какое-то странное расплывающееся белое пятно — пятно это, теряя свою белизну, стало быстро увеличиваться и наливаясь голубизной, перешедшей затем в синий и даже в черно-синий цвет — как то небо, которое он видел сегодня, стоя на краю крепости, — да это и было небо, почти ночное, звездное, но звезды были почему-то огромные, похожие на солнце, хотя на них вполне можно было смотреть, потому что они не ослепляли, но каждая из них излучала вокруг себя золотистое сияние, — оторвавшись от земли, он свободно летал между ними, но как только он приближался к одной из них, золотистый ореол, окружавший гигантскую звезду, гас, и взгляду его представлялась пустынная каменистая местность, до того пустынная, что она не заканчивалась даже каким-либо подобием горизонта, и на горах камней и скал, приобретающих зыбкие очертания бывших городов, были разбросаны человеческие черепа и кости, и неожиданно-странный запах исходил от этих каменных вымерших пустынь — запах озона, какой бывает обычно после грозы, и он летел дальше, легко, без усилий, как птицы, которых он видел сегодня, стоя на площадке крепости, но на всех звездах, куда бы ни подлетал он, видел он одно и то же: остатки былой жизни, былой цивилизации, — все было мертво, — гигантские звезды стали внезапно уменьшаться в размерах, и тогда на фоне черного неба показалась ярко-желтая полная луна — из луны этой вышел щит, на котором старинными церковными буквами было написано два раза: «Да, да», — щит этот осиянный, так же как и буквы на нем, прошел все небо в направлении с востока на запад, что несомненно указывало на мессианское предназначение России, и он полетел вслед за этим щитом с такой легкостью, что он вообще потерял ощущение собственного тела, слившись с чем-то недоступным, а теперь ставшим лишь частью его плоти, — он полулежал на коврике между ее кроватью и стеной, куда дотащила его Анна Григорьевна, задыхаясь под тяжестью его тела, — она подложила под его голову подушку — судороги его уже заканчивались, но на губах была пена, и она вытирала ее — медленно открыв глаза, он посмотрел на нее неузнавающим взглядом, — «Сомте ça», — сказал он почему-то по-французски, — «Я здесь, Федя, здесь, с тобой», — присев на колени рядом с ним, она крепко прижалась своей щекой к его холодному потному лбу, — «Я с тобой, здесь», — повторила она, и повтор этот прозвучал как вздох скорби и нежности.

Поезд из Бадена уходил в два часа пополудни, но уехать без шиньона было невозможно, и поэтому с самого утра история с поисками шиньона возобновилась с но-

вой силой: попеременно вызывались то Marie, то Тереза, и Анна Григорьевна и Федя устраивали им перекрестный допрос. Федя, находившийся после припадка особенно не в духе, раздражался и даже кричал, — проснувшись утром, еще не открыв глаз, он с неприятным для себя чувством увидел перед собой какой-то треугольник с изъеденной вершиной — напрягая мысль, он пытался вспомнить, что все это должно было обозначать, и неожиданно вспомнил: пропавший шиньон — да, именно это и делало этот треугольник незавершенным — они не могли уехать отсюда вот так вот с исчезнувшим шиньоном, — Marie и Тереза искали во всех углах, потом Тереза ушла, а Marie принялась искать в постели Анны Григорьевны и в Фединой постели и, в конце концов, обнаружила его за Фединой кроватью, — Федя стал уверять, что он сегодня утром смотрел, и шиньона там не было, а теперь он явился, следовательно, Marie подложила его, — Marie со слезами на глазах побежала к хозяйке, которая ворвалась в комнату и стала кричать, что воровок она не держит, что у нее честные люди, — она кричала, ударяя себя в плоскую грудь, — Анна Григорьевна называла ее M-me Thenardier, по имени героини романа Гюго, — бесчеловечной женщины с громким смехом и мужскими замашками, — но Феде она почему-то напомнила сейчас, когда она, иступленно крича, била себя кулаком в грудь, какую-то очень знакомую личность — ага, он вспомнил — Катерину Ивановну из «Преступления и наказания», когда она на поминках, с выступившими на лице и шее красными пятнами, с колыхающейся чахоточной грудью, иступленно доказывала свое благородное происхождение под смех всех присутствующих, в особенности же под презрительное фырканье хозяйки Амалии Ивановны, этой тупой и надменной немки, — как точно он все-таки вывел тип Екатерины Ивановны, хотя в происходившей сейчас сцене было все как раз наоборот, но как была верна эта атмосфера назревающего скандала! — с ноября прошлого года он ничего не написал — сначала женитьба, потом эта рулетка, которая вытеснила все из его головы, так что он даже не смог толком написать статью о Белинском, но все эти мысли пронеслись в его мозгу только так, между прочим, — голос хозяйки слышался теперь где-то за дверьми — история с шиньоном была закончена, — он сидел за письменным столом, подперев подбородок ладонями, закрыв глаза, и перед его внутренним взором снова всплыл знакомый треугольник с изъеденной, выщербленной вершиной — то, что он выиграл вчера, было взято с двух ударов, — ему следовало поставить еще на третий удар — только нечетная цифра, в особенности цифра «три», могла быть завершающей — до отхода поезда оставалось еще больше двух часов — за это время можно было еще выиграть целое состояние — он терял последнюю возможность, последний шанс, сидя вот так вот бессмысленно за столом, в то время как там, совсем недалеко, где заканчивалась Lichtentaler Allee, в белом двухэтажном здании со шпилями, за высокими окнами, задрапированными изнутри тяжелыми зелеными портьерами, на столах, покрытых зеленым сукном, под светом люстр, пробивающимся сквозь облака табачного дыма, золотились груды монет, — словно оклады икон в церкви при мерцающем свете свечей, окутываемые облаками ладана, — поклявшись Анне Григорьевне, что это самый последний раз и что он только посмотрит, но на всякий случай просит у нее всего только один гульден, он помчался по направлению к вокзалу, а Анна Григорьевна, чтобы не платить так много денег за вещи, стала заворачивать все книги в свое черное платье, а затем еще в Федино пальто, чтобы все это можно было бы внести в вагон как маленький багаж, — кроме того, нужно было проверить еще раз все ящики комода и постели, чтобы быть уверенной, что они не забыли ничего — Федя уже успел обернуться и, упав на колени, сказал, что он все проиграл и что он подлец, потому что заложил еще обручальное кольцо, — теперь уже не хватало денег, чтобы уехать, и они вместе помчались к Morpert'у, жившему недалеко за углом, чтобы заложить серьги, — груды золотых монет продолжали отсвечивать своим таинственным

церковным светом, и когда оставалось полтора часа до отхода поезда, Федя с пятью франками в кармане снова помчался в вокзал, — давеча, когда он проиграл и заложил кольцо, он слишком погорячился и поставил свой седьмой (нечетный) удар на зего, понадеявшись на счастливую цифру «семь» — он все проиграл, и крупье, взяв его деньги, сложил их в общую кучу, а затем разровнял эту грудку монет ладонью, уничтожив вершину, — теперь он просто хотел взглянуть еще раз на кучу монет, всегда лежавшую возле крупье, взглянуть в такой момент, когда она заканчивалась вершиной, — стоя позади играющих и любопытных, встав на цыпочки, стараясь разглядеть между их голов грудку монет возле крупье, то уменьшавшуюся, то увеличивавшуюся в зависимости от хода игры, зажав в ладони пятифранковую монету, он с замирающим сердцем ждал момента, когда эта грудка приобретет четкую вершину, — он чувствовал, что этот момент должен был стать решающим в его жизни, и когда грудка монет, к которой крупье то и дело подгребал еще дополнительные порции проигранных монет, стала такой громадной, что, казалось, она сейчас рассыплется и на вершине этой грудки образовалось подобие конуса, он, сам еще не осознавая, что делает, одним движением протиснулся к столу, и как только крупье предложил ставить, выложил свою пятифранковую монету, — он снова поставив на нечет — шарик бешено метнулся и почти сразу же вскочил в зего — восклицания радости и отчаяния раздались одновременно с разных сторон — несколько игравших сорвали огромный куш, остальные — проиграли, может быть, целое состояние, — он пробирався сквозь толпу посетителей вокзала, втянув голову в плечи, — последняя монета была проиграна, а вместе с ней рухнула и его последняя надежда — он катился с горы вниз, теперь уже окончательно и бесповоротно, даже не пытаясь ни за что ухватиться, — когда он прибежал домой, запыхавшийся и бледный, Анна Григорьевна объяснялась с хозяйкой, которая требовала одиннадцать гульденов, — разгорячась, хозяйка снова ударяла себя в грудь и кричала, что у нее гульденов было побольше, чем у Анны Григорьевны и Феде, потом она стала требовать деньги за прислугу, за дрова — Анна Григорьевна протянула ей два гульдена, но хозяйка сказала, что этого мало, а когда Анна Григорьевна прибавила ей еще один гульден, она снова стала бить себя кулаком в грудь и кричать, что у нее нет нечестных людей, — когда она, наконец, ушла, Федя побежал за извозчиком, но, как только он ушел, она вернулась и стала требовать 18 крейцеров за разбитый горшок, — в это время Федя пришел с коляской, весь взмокший, так что Анна Григорьевна боялась, что он простудится, — хозяйка то вбегала, то снова выбегала из комнаты, что-то требуя, ударяя себя кулаком в грудь, — наскоро поев булку и полфунта ветчины, которые Федя купил, когда бегал за извозчиком, они вышли из комнат и стали спускаться по лестнице, — хозяйка вышла их провожать, а Marie, стоявшая на площадке, даже не повернула головы в их сторону — эдакая неблагодарная девчонка, они столько раз давали ей фрукты и всякие мелочи, а она даже не захотела попрощаться с ними! — на улице возле поджидавшей их коляски им встретились только скверные дети кузнечихи, которые не давали им спать, — когда они взобрались в коляску, в окне показались фигуры хозяйки и Marie — хозяйка кричала им что-то угрожающее, так что на секунду им показалось, что в них сейчас полетят камни, — коляска тронулась, подковы лошадей зацокали по клинкеру — они ехали по знакомым баденским улицам, обсаженным белыми акациями, мимо знакомых домов с черепичными крышами и закрытыми ставнями в этот жаркий еще, несмотря на конец лета, послеполуденный час — Федя сидел, согнувшись, в своем выкупленном, довольно уже потертом черном берлинском костюме, поддерживая узел, в который были связаны книги, — Анна Григорьевна была одета в свое фиолетовое платье и мантильку, которую все-таки удалось выкупить, и теперь эта мантилька прикрывала очень кстати штопки на платье, на голове у нее была шляпка с вуалью, а у Феде — его темная шля-

па, которую он то и дело снимал, чтобы вытереть пот — в этот момент он придерживал узел ногой, — глядя на знакомые дома и улицы, на каштановую Lichtentaler Allee, мимо которой они сейчас проезжали, Анне Григорьевне казалось, что они жили здесь очень долго, целую вечность и что, может, кроме этого, в их жизни ничего больше не было, и она все время боялась, что еще случится что-нибудь такое, что помешает им уехать отсюда, — она то и дело посматривала на часы на башне городской ратуши, которая виднелась с разных концов города, — слава Богу, они приехали вовремя, и, пока носильщик относил их чемоданы в багаж, Федя побежал за билетами — поезд стоял уже под парами, — узел с книгами, предназначенный для вагона, лежал на скамейке возле Анны Григорьевны, и в этот момент появилась Тереза — она бежала по платформе, озираясь по сторонам, — сердце у Анны Григорьевны упало — она так и предчувствовала, что они не уедут отсюда, что что-нибудь им помешает, — увидев Анну Григорьевну, Тереза остановилась и, запыхавшись, начала что-то быстро говорить — оказывается, Анна Григорьевна захватила с собой ключ от квартиры, — облегченно вздохнув и порывшись в сумочке, она нашла ключ — действительно, у нее была такая дурная привычка забирать ключи от квартиры — вместе с ключом она дала Терезе несколько крейцеров — Тереза поблагодарила и пожелала счастливого пути — она была самый лучший человек в Бадене, такая забитая, покорная, и ей, конечно, было неловко, что с ними так плохо обошлись, — в вагоне было жарко, но когда поезд наконец тронулся, стало немного прохладнее — мимо окон проплывали краснокирпичные дома с черепичными крышами, вдали виднелись горы, покрытые зеленью, и одна из них с Новым и Старым замками и с нависшими наверху скалами, — теперь, когда они безвозвратно уезжали отсюда, она снова, как и в первый раз, когда они подъезжали сюда, увидела красоту этого городка и окружающих его гор, где-то вдали блеснул своей голубизной Рейн, и на секунду ей стало грустно, — «Разлука, как ни кинь, смерть», — писала Цветаева — покидая даже самые неприятные места обитания, я, например, всегда испытываю чувство грусти, наверное оттого, что знаю, что никогда уже более туда не вернусь, — Федя раздобыл откуда-то красный виноград, очень вкусный, и Анна Григорьевна и Федя ели его в поезде, но, к сожалению, Федя купил слишком мало, — за окнами тянулись знакомые Шварцвальды и Тюрингены, затем начались бесконечные пересадки, и одни соседи стали сменять других — какие-то две старушки и дама с железной палкой, ехавшая в Базель, затем пожилая дама с суровым лицом, желавшая, как почему-то решила Анна Григорьевна, выйти замуж, молодой немец, наступивший на ногу Анне Григорьевне и любезно извинившийся, очень словоохотливый, отчего Федя сразу забился в угол дивана и молча сверлил Анну Григорьевну и немца сердитым взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, какая-то дама в трауре, поинтересовавшаяся, есть ли в России еще паспорта и принявшая Анну Григорьевну за немку, что Анна Григорьевна расценила как оскорбление и даже грубость, потом еще двое молодых немцев супругов-молодоженов, — на одной из станций Федя вышел, чтобы купить бутербродов, но у него не оказалось мелочи, и он дал продавцу десять франков, а продавец, возвращая сдачу, не додал Феде одного франка — Федя сказал ему о недоданном франке, но продавец сделал вид, что не слышит, и занялся другими покупателями — в это время раздался третий звонок, а Анна Григорьевна сидела в вагоне за запертой дверью, и билеты были у Феде — услышав третий звонок, Федя закричал изо всей мочи, чтобы тот отдал его франк, — так громко, что перекричал свисток паровоза, — Федя ворвался в купе, взъерошенный, красный, и в ужасном волнении стал рассказывать все это словоохотливому молодому немцу, и при этом еще громко прибавил, что нигде нет столько мошенников, как в Германии, — две старушки, неизвестно почему все еще находившиеся здесь, сказали громко друг другу, что это неправда, а молодой немец из любезности согласился, так

что Федя, очевидно, почувствовал себя до некоторой степени отомщенным за свои злоключения с бутербродами и за явные ухаживания этого немца за Анной Григорьевной — за окном снова показался Рейн, широкий, с зеленоватой водой и с камнями посередине, и Анна Григорьевна обрадовалась ему, как старому знакомому.

На следующее утро они прибыли в Базель. В вокзале скопилось много народу, и Анна Григорьевна с Федей никак не могли понять, следует ли им ожидать своих чемоданов, но словоохотливый немец, снова оказавшийся почему-то рядом, объяснил им, что чемоданы прямо доставят в Женеvu, — Анна Григорьевна и Федя, державший узелок с книгами, словно князь Мышкин, явившийся в дом к Епанчину, влезли в небольшой омнибус, при этом Федя наступил на ноги каким-то англичанкам, а затем, отдав узелок Анне Григорьевне, побежал снова в вокзал, чтобы все-таки узнать, что будет с их чемоданами, — через несколько минут он снова вернулся в карету и опять наступил на ноги англичанкам — карета катилась по улицам большого города и затем выехала на мост через широкую реку — Анна Григорьевна была приятно удивлена, что река снова оказалась Рейном, — на мосту возле перил стояли два-три пьяных старика и о чем-то спорили, размахивая руками, и это навело Анну Григорьевну на мысль об иллюзорности свободы в Швейцарии, после чего супруги Достоевские прибыли в «Hotel Goldenes Korn», где и кельнер и носильщики тоже оказались пьяными, в результате чего Анну Григорьевну и Федю приняли за одну семью с англичанами и хотели поселить всех вместе в одной комнате.

Едва устроившись, Достоевские пошли осматривать город, главным же образом собор и местный музей. День был мрачный, поэтому картины были плохо освещены, в особенности же — в соборе. В музее же, хоть света было побольше, все картины, кроме одной, не привлекли особого внимания Достоевских. Эта же одна, написанная Гольбейном-младшим и называемая Анной Григорьевной «Смерть Иисуса Христа», хотя истинное ее название было «Мертвый Христос», имела форму вытянутого в длину прямоугольника и, в отличие от обычных картин, на которых страдающий или мертвый Христос изображался с налетом романтики, являла собой мертвеца, вытянувшегося на белой простыне, словно в покойницкой, с заострившимся носом, с телом истерзанным и измученным, но уже тронутым первыми признаками разложения, которые особенно отчетливо были заметны на лице и на несоразмерно больших ступнях, так что Анна Григорьевна смотрела в ужасе на эту картину, в то время как Федя был в восхищении. Заметив стоявший возле стенки стул, он решительными и быстрыми шагами подошел к нему и, поставив его почти посередине залы, встал на него и впился взглядом в картину — длинная, вытянутая по горизонтали картина висела над самой дверью внутри рогожинского дома на Гороховой — да, именно такая должна была там висеть, и князь Мышкин, видевший эту картину в Швейцарии, должен был сказать именно то, о чем подумал сейчас стоявший на стуле человек: «что от такой картины можно и веру потерять», хотя сам он тогда не видел ни облика купца с маленькими, огненными глазами, сжигаемого страстью к падшей, но гордой женщине — этой вечной героине Достоевского, болезненно разжигавшей его чувства и оттого не способной их утолить, ни облика князя, этого рыцаря печального образа, полу-Христа, полу-Дон-Кихота, страдавшего той же болезнью, что и стоявший на стуле человек, ни облика множества других персонажей и лиц, ни имен, которыми он наделил будущих героев романа и о которых он даже, может быть, еще понятия не имел, ни событий и сцен, которые должны были разыгаться, но почему-то картина эта была совершенно отчетливой деталью — первым кристаллом, выпавшим из перенасыщенного раствора, — остальное, пока еще скрытое густым туманом, должно было прийти само собой — с новой силой впился он взглядом в картину — на несколько мгновений она поблекла, даже почти как бы растворилась, и на месте ее появились знакомые лица:

красная с рысьим взглядом, плоская с выпуклыми глазами, затем лица тех, кто водил хоровод, а потом, расположившись на вершине горы амфитеатром, указывали на него пальцем и, хихикая, подмигивали друг другу, так что он даже уже хотел сойти со стула, но в следующее мгновение все они исчезли, и он снова явственно увидел лицо и тело мертвого Христа и услышал фразу о потере веры, сказанную кем-то другим, — и эта мысль должна была стать средоточием романа, и тогда из тумана стали проступать какие-то пока еще неясные предметы, сцены и образы: блеснувший нож — один крестьянин закалывал другого со словами: «Господи, прости ради Христа», — возведя глаза к небу; затем солдат, продавший свой оловянный крест, выдав его за серебряный; слова о Боге простой бабы-крестьянки при виде первой улыбки своего младенца, затем обмен крестами между двумя главными лицами романа; необычно пустынный Летний сад с грозowymi тучами, сгущающимися над Петербургской стороной; снова блеснувший нож где-то в темном коридоре одной из дешевых петербургских гостиниц возле Литейного и короткий взгляд маленьких огненных глаз хотевшего убить, и снова блеснувший в темноте нож, когда его тыкали под белую грудь гордой и падшей женщине, — подошедший слугитель потянул стоявшего на стуле за руку, — здесь же рядом стояла Анна Григорьевна, извиняясь за странную выходку ее мужа — она боялась, что с них возьмут штраф, — он сошел со стула покорно, как лунатик, даже как бы и не обратив внимания на то, что его заставили сойти, — он шел рядом с Анной Григорьевной, сначала по музею, чтобы выйти из него, затем по улицам, по которым неслись экипажи и омнибусы, мимо больших домов с зеркальными витринами, навстречу спешащим куда-то людям, ничего не замечая, — он находился на вершине горы, той самой вершине, которая ранее казалась ему недоступной, и с этой вершины ему открывался вид почти на всю планету с ее городами, реками, деревушками, океанами и церквями, со всей ее суетливо идущей и полной трагических противоречий жизнью, — возможно, он находился теперь в том хрустальном дворце, который он с таким упорством проглядывал, пытаясь взобраться на вершину, — они вернулись в «Hotel Goldenes Korn» и пообедали, затем снова гуляли по вечернему городу, а ночью они заплыли далеко за линию горизонта — движения их были ритмичны, и так же ритмично они дышали, то погружаясь в воду, то сильным движением выталкиваясь из нее, и встречное течение ни разу не снесло его, — за покрытыми снежной пеленой окнами медленно плыли туманные пятна — огни на перроне Московского вокзала, — пассажиры нетерпеливо стояли в проходе с чемоданами и сумками, дверь, ведущая из тамбура, была открыта, и морозный пар врывается в вагон — поезд остановился, — держа в руке чемодан, я вышел вслед за другими на платформу и пошел среди суевающей толпы приехавших и встречающих по направлению к туманно светящемуся сквозь морозную дымку зданию вокзала — возле соседней платформы стоял фургон, нагруженный большими синими спортивными сумками, из которых торчали хоккейные клюшки — это команда московских динамовцев, игравшая сегодня с ленинградским «Зенитом», возвращалась в Москву на «Красной стреле».

\* \* \*

На площади перед Московским вокзалом было почти пустынно — большая часть приехавших исчезла в метро, остальные пошли к трамвайной остановке, находившейся слева от площади, то есть фактически уже на Лиговке, и только небольшая кучка наиболее отважных и отчаянных пыталась поймать такси, иногда подъезжавшие к зданию вокзала, — вокруг каждой машины с зеленым огоньком возникал бой — время приближалось к полуночи — в лучах фонарей и прожекторов, освещавших площадь, видны были медленно падающие редкие снежинки, от морозного воздуха слипались

ноздри, под ногами поскрипывал снег, а прямо перед площадью проглядывался почти пустынный Невский проспект с двумя цепочками фонарей, постепенно сходящимися вместе и тонущими где-то в ночной морозной мгле, и с редкими движущимися огоньками последних троллейбусов — обходя площадь, я пересек сначала Лиговку — где-то там, за трамвайной остановкой, в темноте, прочерчиваемой лишь едва видимой цепочкой фонарей, чуть в стороне от Лиговки, рядом с Кузнечным рынком, находился обычный серый петербургский дом, в котором жил он последние годы своей жизни и где умер на своем кожаном диване, под фотографией Сикстинской Мадонны, подаренной ему кем-то из его друзей ко дню рождения, и куда-то туда, в темноту, в известный район, ехал на извозчике с нарумяненной женщиной героиней бунинского рассказа «Петлистые уши», рассказа, который почему-то рассматривается литературоведами как антитеза «Преступлению и наказанию», — затем я пересек Невский там, где он вливается в площадь, и вышел на улицу Восстания, бывшую Знаменскую — по этой улице он тоже часто ходил, посещая Майкова, жившего здесь, или возвращаясь из редакции или типографии, помещавшихся на Невском, к дому Сливчанского, где некоторое время жил он сам, или к дому Струбинского возле греческой церкви, где тоже он жил позднее, — приезжая в Ленинград, я всегда останавливался у нашей приятельницы, которая жила на Знаменке еще с довоенных времен. Снег поскрипывал под ногами, чемодан не очень отягощал меня, я шел не торопясь, с удовольствием вдыхая ночной морозный воздух, глядя на цепочки фонарей, такие же прямые и ровные, как на Невском, и так же сходящиеся и теряющиеся где-то вдаль, — на перекрестке я остановился, пропуская заворачивающий со скрежетом трамвай — два или даже три сцепленных вагона с заиндевелыми окнами, сквозь которые едва проглядывали одинокие тени ночных пассажиров, — дом, где жила наша приятельница, находился сразу за перекрестком, — я вошел в знакомый обшарпанный подъезд, где всегда пахло кошками, а на каменном полу валялись осколки от бутылок после распивания на троих или даже в одиночку, и стал подниматься на третий этаж по крутой каменной лестнице со сбитыми и стоптанными ступенями, скудно освещаемой одной или двумя лампочками, возле высокой, потемневшей от старости двери я позвонил, повернув ручку старинного звонка, но, не услышав движения за дверью, еще раз крутанул ручку звонка — последнее время Гильда Яковлевна стала плохо слышать — наконец за дверью послышались тихие шаги и звук отпираемого замка — в проеме высокой двери стояла маленькая старушка, Гильда Яковлевна, в халате, с морщинистым лицом, ямочкой на подбородке и темными волосами — она регулярно красила их, наверное, с тех пор, как я ее помню, поэтому в моих глазах она никогда не была старушкой, а была Гилей, такой, как я называл ее в детстве, когда мы жили в одном городе, и она была самой близкой подругой моей матери, — нагнувшись, я поцеловал ее в мягкую морщинистую щеку, и она быстро чмокнула меня в ответ, — «Ты на трамвае? Я так и думала, что поезд опоздал. Я уже звонила на вокзал. Какая погода в Москве?» — быстро заговорила она, закрывая дверь изнутри на засов, не слушая моих ответов и следуя за мной в комнату, куда я уже входил как хозяин, — «Я тебе уже постелила. Блинычики разогреть или ты любишь холодные? Есть пирожки из Елисеевского. А мама все еще на диете? Попробуй курицу — это Анна Дмитриевна сварила. Завтра у нас на обед суп с клецками, твой любимый, а на второе — телячьи отбивные. Я еще вчера ходила на рынок. А вы в Москве пользуетесь рынком?» — Небольшой круглый стол был накрыт и уставлен едой, старая продавленная кушетка была аккуратно постелена, а на белоснежной подушке лежала еще и сумочка, — «Гилечка, зачем ты ходила в такой мороз на рынок, а уж с постелью вполне могла меня подождать — неужели обязательно самой нужно было подымать этот тяжеленный матрац?» — я лицемерно укорял ее, а она преувеличенно резким тоном — «Ай, оставь!» — отмахивалась от меня, и нам

обоим было очень приятно, — сцена эта повторялась каждый раз, когда я приезжал, — открыв чемодан, я доставал оттуда шоколадный набор и бананы, которые Гиля очень любила, — «Ты с ума сошел!» — говорила она мне, не упустив при этом заметить, что бананы еще не совсем зрелые, — мама моя, зная Гилю, «как свои пять пальцев», как она любила выражаться, каждый раз уверяла меня, что и шоколад, и бананы все равно перекочуют к «маленькой Тане», внучке бывшей закадычной приятельницы Гиля, которая, по словам Гиля, в свое время сделала очень много для нее, а потом умерла от рака, или к «большой Тане», дочке Гилянина племянника, который развелся с женой, и Гиля чувствовала себя виноватой, потому что жена племянника была племянницей бывшего Гилянина шефа-академика, и в свое время сама Гиля с необычайным рвением способствовала этому браку, или еще кому-нибудь из родственников и знакомых, которых Гиля опекала, хотя справедливости ради следует заметить, что часть бананов Гиля оставляла для себя, а шоколадный набор дарила врачу, который лечил ее, — затем, вынув полотенце, ступая на цыпочках, чтобы не разбудить соседей, я шел в ванную — большую проходную комнату, всю заставленную старой мебелью и корытами, где сама ванная занимала только часть помещения и была отгорожена ширмами, на которых постоянно сушилось белье, так же как и на многочисленных веревках, протянутых через комнату так, что она скорее напоминала собой задник театральной сцены — помимо Гиля квартиру населяли одни женщины: две пожилые сестры Хая и Циля Марковна, полные, с крашенными в рыжий цвет волосами, которых я так и не научился различать, тем более что к ним очень часто приходила еще третья сестра, жившая где-то на отшибе, — все они прекрасно готовили всякие цимесы, шкварки, фаршированную рыбу, пекли пахнущие корицей пироги и струдели, — затем дочь одной из двух сестер — не то Хаи, не то Циля Марковны — Лера, очень полная перезрелая девушка, томившаяся по жениху, но тщательно и даже гордо скрывающая это — в ожидании счастливого жребия работавшая медсестрой на скорой помощи, — она либо спала, либо отсутствовала, и через открытую дверь ее комнаты часто можно было видеть ее кровать, почему-то всегда незастеленную, с огромной пуховой подушкой и небрежно откинутым голубым пуховым одеялом, и, наконец, Анна Дмитриевна, высокая старушка, когда-то, видимо, красивая и статная, с трясущейся головой и дрожащими руками, помогавшая Гиле в ведении хозяйства, когда-то владевшая всей этой квартирой вместе со своим мужем, бывшим белым офицером, давно выведенным в расход, курившая целыми днями «Беломор» в своей каморке перед постоянно включенным телевизором, никогда не отказывающаяся от рюмочки водки и чрезвычайно преданная советской власти, что вызывало постоянное раздражение Гиля, считавшей Анну Дмитриевну непроходимой дурой, — увидев меня, идущего в ванную, Гиля, зная мою страсть принимать каждый день душ, предлагала затопить колонку, потому что Анна Дмитриевна еще днем заготовила дрова, принеся их из сарая во дворе, но я решительно отказывался, потому что было уже очень поздно и надо было иметь совесть, а потом после ужина я лежал на диване, который был мне несколько коротковат, так что ноги мои чуть свисали, а под головой мешался диванный валик, но если его убрать, то голова оказывалась неестественно низко, — лежал, укрывшись заботливо приготовленным Гилей одеялом, и читал какой-нибудь взятый мною наугад том Достоевского из старого дореволюционного собрания сочинений, которое вместе с другими такими же старыми изданиями в серых или темно-синих тисненых переплетах с золотом стояли на этажерке — остаток книг, сохранившихся во время блокады, да еще целая библиотека никому не нужных книг по урологии на черных книжных полках вдоль стены в соседней комнате, где в это время укладывалась спать Гиля — она свято хранила эти Мозины книги и так же свято ездила на могилу Мози в день его рождения, смерти или просто так, — он умер на Гиляной кровати уже двад-

цать с лишним лет назад, вернувшись домой вместе с этой женщиной, которую Гиля называла «она», так что я до сих пор так и не знаю ее имени, — «она» почти не отлучалась из дома и оставалась ночевать на Мозином диване, стоявшем напротив Гилиной кровати, — эта смежная комната имела второй выход в коридор, так что женщина эта могла приходить, не беспокоя Гилю, которая целиком уступила им комнату и жила в столовой, маленькой узкой комнате, в которой обычно помещался я, и спала на этой продавленной кушетке, — Моисея Эрнстовича у нас в семье называли Мозей, потому что так называла его Гиля, — тут была, по-видимому, какая-то немецкая инверсия: Моисей — Мозес — Мозя, да он и учился где-то в Германии, еще до революции, как все евреи, желавшие получить высшее образование, — может быть даже, что и отец его испытал на себе какое-то немецкое влияние, потому что имя «Эрнст» было явно немецким, — Мозя был довольно высоким, подтянутым мужчиной, по-немецки аккуратным, абсолютно лысым, с небольшими усиками и насмешливыми черными глазами, над которыми нависали мохнатые брови, — он был профессором урологии, занимался частной практикой, в молодости прекрасно играл в шахматы, так что получил звание мастера, и вообще считался человеком расчетливым и даже скупым, — Гиле он изменял, по-видимому, давно — еще с моей теткой, которую я упоминал в самом начале и у которой я взял «Дневник» Анны Григорьевны, — во всяком случае, у нас в семье постоянно рассказывали историю о том, как в молодости они втроем поехали отдыхать — Мозя, Гиля и моя тетка — и как они жили все в одной комнате — мама моя называла по этому поводу Гилю мазохисткой, — в тридцать седьмом году Мозя сидел, но благодаря чьим-то хлопотам был вскоре выпущен, — Гиля с захватывающими подробностями часто рассказывала эту историю — как его взяли, как он сидел, и как он возвратился — неожиданно позвонил в дверь поздно вечером, и как она пошла открывать, думая, что это пришли за ней, — оказывается, это был Мозя, — она бросилась к нему, не веря своим глазам, а вместе с ней ее закадычная приятельница Эльза, так много сделавшая для нее и почти весь период Мозиной отсидки жившая с ней, а затем назвавшая свою дочь Тильдой в честь Гили, — Эльза была верным другом дома, и Мозя первый обнаружил у нее рак груди, хотя был урологом, — женщина, с которой Мозя вернулся домой и которую Гиля называла «она», была его помощницей по кафедре — не то ассистентом, не то лаборантом, — он несколько раз уходил к ней на длительный период времени, и тогда Гиля приезжала к нам из Ленинграда, и они с мамой долго обсуждали создавшуюся ситуацию, а потом как-то Мозя приехал к нам и мама стала ему вычитывать за все, на что Мозя сказал: «Вы еще не знаете Гилю», — и эта Мозина фраза часто повторялась в нашей семье, мамой — с возмущением, а теткой — философски, потому что она вообще широко смотрела на жизнь и часто любила повторять толстовскую фразу: «Люди как реки», — за период своих странствований от Гили к этой женщине и обратно Мозя получил два инфаркта, а после третьего приехал умирать домой, но эта женщина не оставляла его, и Гиля готовила еду для них обоих, и только в день смерти женщина эта отлучилась и не пришла к вечеру, а к ночи ему стало плохо, не хватало воздуха, он попросил Гилю помочь ему встать, чтобы сделать несколько шагов по комнате, — ему казалось, что ему станет легче, — и Гиля помогла ему встать, и, опираясь на нее, он сделал несколько шагов по направлению к своему письменному столу, на котором до сих пор лежат его книги и стоит его фотография, где он чем-то напоминает немецкого профессора со своими аккуратными усиками и пронизательным взглядом, — в эти несколько последних минут его жизни они с Гилей были вдвоем в своей квартире, как в былые времена, и на секунду Гиле показалось, что никакой женщины не было и что весь этот последний период ее жизни — это просто дурной сон, а сейчас она помогает своему больному мужу пройти по комнате, и что все это естественно, и как могло быть иначе, но ему стало хуже, и он

попросил проводить его до кровати — Гиля помогла ему улечься, на лбу его выступил холодный пот, дыхание остановилось, и Гиля сама закрыла ему глаза в их собственной квартире, на ее кровати, в отсутствие этой женщины, которая непонятно по какому праву жила здесь и пользовалась услугами Гиля, не прогонявшей ее, чтобы не огорчить Мозю, — в общем, он умер на ее руках, как положено умереть законному мужу, и это давало ей некоторое утешение во все последующие годы ее вдовства, так что она даже любила рассказывать, как он умер на ее руках, — свет от старинной настольной лампы с зеленым абажуром — бывшей Мозиной лампы, постоянно стоявшей на его письменном столе, падал на страницы книги, которую я читал, — Гиля сама приносила мне эту лампу и ставила на край обеденного стола, но оттуда свет не достигал книги, и поэтому я переставлял лампу на стул возле изголовья дивана, подложив под нее стопку книг, — лампа стояла не слишком устойчиво, и я боялся, что она упадет на пол и зеленый абажур разобьется, хотя и был уверен, что Гиля ничего не сказала бы мне, — круг света, падавший на книгу, колебался — это на улице проносился трамвай и дом чуть-чуть дрожал и трясся, хотя был очень старым и устойчивым, — в соседней комнате Гиля еле слышными глотками запивала снотворное, а затем гасила свет над своей кроватью, — «Ты все еще увлекаешься Достоевским?» — спрашивала она меня и, не дождавшись ответа, тут же добавляла: «Не говори только об этом у Бродских», — Бродский был бывшим ее шефом, и хотя она давно уже не работала, но все еще продолжала поддерживать дружеские отношения с ним и со всей его семьей, в особенности же с его женой, Дорой Абрамовной, сухощавой энергичной женщиной, командовавшей не только всей многочисленной семьей, но даже организационно-научными делами сектора, который возглавлял Бродский, — Бродские отмечали все еврейские праздники, не ели трефного и много лет уже собирались уезжать в Израиль, но сыновья Бродского работали на какой-то секретной работе, а сам он как академик боялся излишнего шума, который мог подняться вокруг его имени, — в этот вечер, лежа на продавленном коротком диване, слушая убаюкивающий скрежет ночных трамваев, завораживающих на углу возле Гиляного дома и затем вихрем уносившихся по ночной заснеженной улице, мотаясь из стороны в сторону, как это всегда бывает с пустыми быстро идущими вагонами, куда-то вдаль, где в морозной ночной мгле сходились цепочки фонарей, я листал в слегка колеблющемся круге света, падавшем от лампочки под зеленым абажуром, предпоследний том Достоевского, в котором был опубликован «Дневник писателя» за семьдесят седьмой или семьдесят восьмой год, — наконец-то я натолкнулся на статью, специально посвященную евреям, — она так и называлась: «Еврейский вопрос», — я даже не удивился, обнаружив ее, потому что должен же он был в каком-то одном месте сосредоточить всех жидов, жидков, жиденят и жидёнышей, которыми он так щедро пересыпал страницы своих романов — то в виде фиглярствующего и визжащего от страха Лямшина из «Бесов», то в виде заносчивого и в то же время, трусливого Исаия Фомича из «Записок из Мертвого дома», не брезгавшего одалживать под большие проценты своим же, из каторжников, то в виде пожарного из «Преступления и наказания» с «вековечной брюзгливой скорбью, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени», и с его вызывающим смех произношением, которое воспроизводится в романе с каким-то особым, изощренным удовольствием, то в виде жида, распявшего христианского ребенка, у которого он затем отрезал пальцы, и наслаждающегося муками этого дитяти (рассказ Лизы Хохлаковой из «Братьев Карамазовых»), — чаще же всего в виде безымянных ростовщиков, торгашей или мелких жуликов, которые даже не выводятся, а просто именуются жидками, а еще чаще в виде имен нарицательных, подразумевающих самые низкие и подлые черты человеческого характера, — ничего удивительного не было в том, что автор этих романов где-то в конце концов высказался на эту

тему, представив наконец свою теорию, — однако никакой особой теории не было — были довольно избитые антисемитские доводы и мифы (не устаревшие, между прочим, и по сей день): о переправке евреями золота и бриллиантов в Палестину, о мировом еврействе, которое опутало своими жадными щупальцами чуть ли не весь мир, о нещадной эксплуатации и спаивании евреями русских людей, что делает невозможным предоставление евреям равных прав, иначе они совсем заедят русского человека, и т. д. — я читал с бьющимся сердцем, надеясь найти хоть какой-нибудь просвет в этих рассуждениях, которые можно было услышать от любого черносотенца, хоть какой-нибудь поворот в иную сторону, хоть какую-нибудь попытку посмотреть на всю проблему новым взглядом, — евреям разрешалось только исповедывать свою религию и более ничего, и мне казалось до неправдоподобия странным, что человек, столь чувствительный в своих романах к страданиям людей, этот ревностный защитник униженных и оскорбленных, горячо и даже почти исступленно проповедующий право на существование каждой земной твари и поющий восторженный гимн каждому листочку и каждой травинке, — что человек этот не нашел ни одного слова в защиту или в оправдание людей, гонимых в течение нескольких тысяч лет, — неужели он был столь слеп? или, может быть, ослеплен ненавистью? — евреев он даже не называл народом, а именовал племенем, словно это были какие-то дикари с Полинезийских островов, — и к этому «племеню» принадлежал я и мои многочисленные знакомые или друзья, с которыми мы обсуждали тонкие проблемы русской литературы, и к этому же «племеню» относились Леонид Гроссман, и Долинин (он же Искоз), и Зильберштейн, и Розенблюм, и Кирпотин, и Коган, и Фридлиндер, и Брегова, и Борщевский, и Гозенпуд, и Милькина, и Гус, и Зунделович, и Шкловский, и Белкин, и Бергман, и Соркина Двоясь Львовна, и множество других евреев-литературоведов, ставших почти монополистами в изучении творческого наследия Достоевского, — было что-то противоестественное и даже на первый взгляд загадочное в том страстном и почти благоговейном рвении, с которым они терзали и до сих пор терзают дневники, записи, черновики, письма и даже самые мелкие фактики, относящиеся к человеку, презиравшему и ненавидевшему народ, к которому они принадлежали — нечто, напоминающее акт каннибализма, совершаемый в отношении вождя враждебного племени, — возможно, однако, что в этом особом тяготении евреев к Достоевскому можно усмотреть и нечто другое: желание спрятаться за его спиной, как за охранной грамотой — нечто вроде принятия христианства или намалевания креста на двери еврейской квартиры во время погрома, — впрочем, не исключена здесь и просто активность евреев, которая особенно велика в вопросах, касающихся русской культуры и сохранения русского национального духа, что, впрочем, вполне увязывается с предыдущим предположением, — за окном уже не слышно было трамваев, свет я давно погасил, осторожно поставив Мозину лампу на обеденный стол — в соседней комнате деликатно похрапывала Гиля — десять дыханий и один маленький всхрапик — чуть-чуть, даже как будто она не храпела, а всхлипывала во сне, ноги мои чуть свисали с дивана, а за окном лежала непроглядная зимняя петербургская ночь, и, хотя было очень поздно, до рассвета оставалась еще целая вечность — можно было спокойно лежать и не думать о том, что обязательно надо заснуть, потому что скоро рассвет, — одинокая фигура в узких клетчатых брюках, в черном цилиндре и в черном берлинском сюртуке, с карманами, оттопыренными от бутербродов, и с развевающимися фалдами бежала по заснеженной платформе какой-то железнодорожной станции, промежуточной между Баденом и Базелем, подпрыгивая, приседая, выделявая какие-то нелепые «па» и выкрикивая что-то насчет одного недоданного франка, но поезд давно уже ушел и наступила ночь, а человек все бежал и бежал, подпрыгивая и приседая, ярко высвечиваемый прожектором, который неотступно следовал за ним, словно все это

происходило на театральной сцене, и в снопе яркого света медленно кружили и падали снежинки, покрывая его лицо и бороду белой пеленой, — платформа кончилась, и он бежал теперь по канату, натянутому под куполом цирка, и белая пелена, покрывавшая его лицо, была маской Арлекина, из-под которой ключьями торчала его седая борода, — сняв с головы цилиндр, он подбрасывал его вверх и ловил на лету, приседая и выделявая невозможные «па», а снизу из первого ряда за выплясывающей по канату фигурой, освещаемой прожектором, неотступно следил человек с крупной головой, львиной гривой и холеной бородой, приставив к глазам холодно поблескивающий лорнет, выплясывающий и жонглирующий своим черным цилиндром человек в маске Арлекина старался именно для того, сидевшего в первом ряду, — остановившись на канате, он поочередно задирает вверх то одну, то другую ногу, словно опереточная актриса, подбрасывая в этот момент свой цилиндр особенно высоко, под самый купол цирка, так что падение выплясывающего на канате казалось неизбежным, но лицо следившего за ним человека оставалось непроницаемым, и только на дне глаз его за холодными стеклами лорнета иногда вспыхивали задорные искорки, обозначавшие поощрение, но только когда выплясывающий сорвался с каната и полетел вниз, выделявая в воздухе отчаянные пируэты, лицо человек с крупной головой и львиной гривой озарилось улыбкой — очаровательной, барской, хотя и несколько высокомерной, — сняв лорнет, он смеялся и поощрительно аплодировал, — упавший с каната снова бежал по заснеженной платформе, но это была уже не промежуточная станция между Баденом и Базелем, а Тверь, лежавшая между Москвой и Петербургом, — с развешивающимися фалдами бежавший по платформе жадно ловил каких-то проезжих сановников, вышедших из курьерского поезда, чтобы немного поразмяться и подышать воздухом, — он метался от одного сановника к другому, жадно ловил их руки и их взгляды, униженно просил о чем-то и кланялся — сановники исчезали в вагоне первого класса, и вот он уже снова бежал за поездом — платформа переходила в лестницу, которая вела в игорные залы, — он поднимался по ступенькам мраморной лестницы, устланной ковром, не торопясь, пренебрежительно глядя на всяких полячков и жидков, мельтешивших перед его глазами, — сам Ротшильд был ему ни о чем, потому что через несколько минут он будет, может быть, богаче самого Ротшильда — этого жида-скряги, нажившего свои миллионы ростовщицеством, между тем как он добудет эти миллионы одним лишь счастливым стечением обстоятельств, которые он может предугадать, да ему ведь и не миллионы важны, а идея, — он небрежно проталкивался через толпу любопытных и играющих, этих жалких и жадных шутов, заносчиво глядя на их желтые, иссушенные нездоровой страстью лица, — с первой же ставки он выиграл полмиллиона, потом еще миллион, но кто-то больно дернул его за руку — человек с плоским, словно корыто, лицом и оттопыренными ушами нагло смотрел на него, и под взглядом его выпуклых водянистых глаз он неожиданно осел на пол, затем пополз на четвереньках к выходу, покатился по лестнице, ударяясь о ступеньки, не чувствуя боли, потеряв свой цилиндр, — он подошел к большому зеркалу, висевшему в вестибюле вокзала, чтобы привести себя в порядок, но вместо себя увидел в зеркале фигуру Исаия Фомича, раздетого, щуплого, с цыплячьей грудью, — он отшатнулся — отшатнулся от него и Исай Фомич, — тогда он стал бросать в Исаия Фомича бутерброды, которыми он набил свои карманы на той станции, где он пронзительно закричал о недоданном франке голосом ограбленного ростовщика, заглушая свисток паровоза, но чем больше забрасывал он бутербродами Исаия Фомича, тем отчетливее и живее выступала его тщедушная фигура, — когда я проснулся, было еще темно, из двери, ведущей в коридор, приятно потягивало папиросным дымком — это Анна Дмитриевна, встававшая обычно в шесть утра, курила в своей комнате первую «беломорину», затем осторожно хлопнула входная дверь, — наверное, это Лера уходила на дежурство

или возвращалась после ночи, в доме напротив почти во всех окнах светились огни и за занавесками мелькали тени встающих и спешащих на работу людей, в кухнях сустились хозяйки, а внизу как-то по-особому, по-утреннему скрежетали на повороте трамваи, а затем с постепенно затихающим грохотом проносились мимо дома, уносясь куда-то в беспредельную прямоу темных улиц со сходящимися где-то вдалеке цепочками фонарей, — дом вздрагивал и колебался, словно пароход, стоящий возле причала, в соседней комнате деликатно всхрапывала Гиля, — когда я снова проснулся, было уже светло, только как-то серо, и за окном медленно кружились снежинки — в коридоре слышались осторожные шаги и даже голос Гиля, которая, по-видимому, давала какие-то хозяйственные указания Анне Дмитриевне, — дотянувшись рукой до стула, я посмотрел на часы — было половина одиннадцатого — позднее зимнее петербургское утро, — натянув на себя тренировочный костюм, я подошел к окну — внизу ползли покрытые снегом трамваи и автобусы — трамваи трехвагонные, автобусы тоже какие-то необычные, больше похожие на туристические или дальнего следования, по противоположному тротуару спешили прохожие, в основном — домохозяйки, закутавшись в платки, в старых потертых шубах и с сумками в руках, а в окнах дома, расположенного напротив, такого же старого и обветшалого, как дом, в котором жила Гиля, кое-где светились окна, потому что в разгар петербургской зимы настоящего дня так и не бывает — поздний рассвет незаметно переходит в ранние сумерки, — в комнату вошла Гиля в своем халате и в ночных туфлях без чулок — ноги у нее были белые, с полными икрами, и я подумал, что когда-то в молодости она, наверное, вполне могла устраивать Мозю, — «Как ты спал?.. Что будешь кушать?.. Может быть, хочешь принять душ?.. Когда ты встаешь в Москве?..» — она засыпала меня вопросами, на которые я не успевал отвечать, — впрочем, ответов моих она все равно не слушала — идя в ванную, я невольно заглянул в Лерину комнату через приоткрытую дверь и увидел постель с пышными подушками и перинами — вполне возможно, что Лера спала после ночного дежурства, утонув в этих перинах, — тренировочный костюм плотно облегал меня, и, умываясь над ванной, я медлил, надеясь встретить ее в коридоре, из кухни аппетитно пахло чем-то не то жареным, не то печеным и слышались голоса — не то Цили, не то Хаи Марковны, а может быть, их обеих и Анны Дмитриевны — кухня в Гиловой квартире была просторной даже для четырех хозяек и в дальнем углу ее находилась дверь, ведущая на черную лестницу и закрывавшаяся на ночь огромным крюком, похожим, наверное, на тот крюк, на который закрывалась дверь в квартире старухи-процентщицы из «Преступления и наказания», а потом мы с Гилей завтракали — стол был сервирован какой-то благородной посудой, хлеб был нарезан тонко, на тарелках лежали сыр, ветчина — Гиля сустилась, подставляя мне то одно, то другое блюдо, в комнату то и дело входила Анна Дмитриевна, с папироской во рту, сильно согнувшаяся за последние годы, неся в дрожащих руках то белую сковородку со специально взбитой для меня на сливках яичницей, то кофейник, — «Уж как ждала-то вас Гильда Яковлевна», — говорила она своим низким, прокуреным голосом и лукаво поглядывала на Гилю, сутившуюся вокруг стола, — «Сама на рынок пошла за телятиной, в такой-то мороз, мне не доверила», — голова ее тряслась, что придавало ей еще более укоряющий вид, — «Ах, бросьте, Анна Дмитриевна! Я всегда хожу на рынок. Ты будешь есть на обед жареную картошку или тушеную?» — «Конечно жареную», — говорил я, — «Я так и думала», — говорила Гиля тоном, полным особого значения, словно она разгадала мое заветное желание, которое я тщательно скрывал, — Анна Дмитриевна, трясая головой «Нет-нет» или «Да-да» со снисходительной улыбкой на лице, обозначавшей беззаветную преданность Гиле при сохранении своего особого мнения, которое ничем не могло быть поколеблено, захватив освободившуюся посуду, по-прежнему с папироской во рту, не торопясь уходила из комна-

ты — после завтрака, усевшись на бывший Мозин диван, мы с Гилей долго беседовали: Гиля расспрашивала меня о моей работе, об общих знакомых, рассказывала о своем бывшем шефе, об отношениях между его племянницей и ее племянником, который после развода с ней обзавелся новой семьей, и хотя она, Гиля, ничего против его новой жены не имеет, но она к ним туда ногой не ступит и не примет у себя, тем более что эта женщина была близкой приятельницей первой его жены, то есть племянницы Гириноного шефа, и не выходила буквально из их дома, и сама вешалась ему на шею, а Роня (так звали первую жену племянника Гили) ничего не замечала, и просто удивительно, как это она ничего не замечала, когда все, буквально все видели, что эта женщина сама вешалась ему на шею, — в когда-то карих, а теперь выцветших добрых Гириных глазах неожиданно вспыхивали злые искорки, голос ее крепчал, менялись его интонация и лексика — она говорила: «Он имел», «Она имела», — еще немного, и, казалось, Гиля взметнется и заговорит или даже, скорее, закричит на идише, на котором когда-то говорили ее родители из-под Киева, откуда она сама была родом, но интереснее всего она рассказывала о Ленинградской блокаде, о том, как они ели кошек и собак, и как она променяла два прекрасных Мозиных отреза на буханку хлеба, и как Мозя, уже почти не встававший от слабости, прямо на глазах обрел силы, когда она накормила его этим хлебом и еще двумя котлетами из конины, которые ей удалось получить в специальном распределителе для ученых после того, как она целые сутки простояла в очереди, и как по Невскому проспекту и по Кировскому мосту, по которым она ежедневно проходила два раза, потому что институт, где она работала, находился на Петроградской стороне, везли на салазках обледеневшие трупы, и как прямо на глазах падали люди, тут же замерзая, и трупы их потом подбирали, или не подбирали и, примерзнув к тротуару или мостовой, они оставались лежать до самой весны, — впрочем, самые душевные беседы происходили у нас обычно по вечерам, уже после ужина, когда за окном чуть немного смеркалось, как перед дождем, но темноты так и не наступало, потому что стояли белые ночи, и ненужные фонари горели на улице до самого утра, всю ночь, о наступлении которой можно было узнать лишь потому, что на улице затихали трамваи, однако, особенно уютными беседы эти казались в долгие зимние вечера, когда рассвета не предвиделось, а за окном мела метель, делая почти невидимыми уличные фонари, и где-то внизу, на повороте, глухо скрежетали трамваи, и под потолком покачивался шелковый абажур, на который едва падал свет от Гириной настольной лампы, стоявшей на ее небольшом письменном столе — старинном дамском столике с почерневшими от времени инкрустациями, — я полулежал на Мозином диване, а Гиля сидела рядом и рассказывала — подробно и гладко — у нее была отличная память на прошлое — о том, как в свое еще время посадили ее первого шефа, известного химика, и как он был сослан в спецлагерь, где работали нужные стране ученые, и как потом, уже незадолго до войны, ему помог освободиться из лагеря Ромен Роллан, хлопотавший за него чуть ли не у самого Сталина, и как потом этого шефа, известного химика, через несколько месяцев посадили повторно, и он бесследно исчез, а потом она переходила к рассказу о Мозиной посадке, о том, как его допрашивал следователь с очень звучной еврейской фамилией, прославившийся своей жестокостью даже за пределами Ленинграда, и о том, как Мозя вернулся домой поздно вечером и как она оторопела, увидев его, и вместе с ней ее приятельница Эльза, жившая с ней весь этот тяжелый период времени, пока Мозя сидел, — сейчас тоже были сумерки — короткий зимний день заканчивался, потом мы обедали, и в комнату снова входила Анна Дмитриевна с папироской во рту, принося и унося в дрожащих руках супницу, сковородки, тарелки, и Гиля суетилась, помогая ей, так что она даже почти и не обедала, но помощь ее оказывалась ненужной, — «Гильда Яковлевна, ну зачем же вы отвлекаетесь от вашего гостя? — ведь вы так ждали его», — с добродуш-

ной иронией говорила Анна Дмитриевна, укоризненно покачивая головой и, в то же время, бросая преданный взгляд на Гилю, а к концу обеда в комнату вплыла не то Хая, не то Циля Марковна, торжественно неся на блюде какой-то необыкновенный пирог с необыкновенной начинкой, и, поставив его на белую мраморную доску старинного буфета, в смущении ретировалась, — а вечером, когда утомившаяся от хозяйственных волнений Гиля прилегла на бывший Мозин диванчик, я сказал ей, что хочу пройтись немного, — «Что ты будешь есть на ужин?» — встрепенулась она, но уже через несколько минут раздалось ее деликатное сопение с небольшими такими же деликатными всхрапиками. На улице было морозно, под ногами скрипел снег, возле светофоров выстроились очереди из трамваев, фигуры людей, освещаемые фонарями и снегом, толпились на трамвайных и автобусных остановках, двигались по тротуарам, мужчины небольшими кучками стояли возле углового продовольственного магазина, соображая на троих, а чуть подальше, немного отойдя от магазина, уже можно было видеть фигуры людей с бледными испитыми лицами — прислонившись к стенам домов, оставляя на своих спинах следы известки, они медленно и неотвратно сползали на тротуар, лежа там до тех пор, пока их не подбирали спецмашины с красным крестом, — я шел по направлению к Невскому проспекту, который уже издали светился, как река во время карнавала, — в общем-то он и был рекой — Невский проспект, вливающийся где-то вдалеке в Неву, — он был притоком ее, прямым и широким, разделяющим весь Невский район города на две части: одну, некогда аристократическую с ее бывшими Сергиевской, Надеждинской, Бассейной, Кировной и Воскресенским проспектом — с безупречными по своей прямоте и строгости зданиями, с ее площадью Искусств, кажущейся ненатуральной вследствие непостижимых уму пропорций обрамляющих ее ансамблей, с ее Марсовым полем, овеванным каким-то духом скорби и торжественности, и примыкающим к нему Инженерным замком с его остроконечными башнями и недоступными внутренними дворами и пристройками, хранящими какую-то страшную тайну, с ее набережными Фонтанки и Мойки, чуть изгибающимися и застроенными домами, большинство которых отмечено мемориальными досками, с ее Спасом-на-крови, красно-золотистый купол которого открывается вдруг с каких-то самых неожиданных мест, с ее бывшей Миллионной улицей, обстроенной многоэтажными барскими особняками с лепными карнизами и зеркальными окнами, этой предтечей или предвестником Английской набережной, застроенной уже не особняками, а дворцами, глядящимися в пугающе широкую, словно пролив, чуть выпуклую Неву, и переходящей затем в Дворцовую набережную с Зимним дворцом — бывшим Российским сердцем, анатомированным и превращенным в музейный экспонат, — и другую часть, некогда демократическую, с улицами, не всегда подчиняющимися ранжиру прямолинейности и порой сбивающимися даже на переулки или тупики, пересекаемые узким, прихотливо петляющим Екатерининским каналом, — все эти бывшие Большие, Средние и Малые Мещанские или Столярный переулок, обстроенные четырех- и пятиэтажными доходными домами, — целый лабиринт улиц, неожиданно упирающихся в ограду Екатерининского канала, лабиринт, усугубляемый моим волнением, как бы не перепутать улицу или номер дома, которые должны были попасть в объектив моего фотоаппарата, когда, подгоняемый нехваткой времени, изменчивостью Ленинградской погоды или угрозой быть остановленным за съемку непарадных объектов, я бродил по этим местам, фотографируя «дом Раскольников» или «дом старухи процентщицы» или «дом Сонечки» или дома, в которых жил их автор, потому что именно здесь-то он и жил в самый темный и подпольный период своей жизни, в первые годы после возвращения из ссылки (именно сюда, в угловой дом на Екатерининском канале приходила к нему с низко опущенной вуалью женщина, с которой он затем путешествовал в одной каюте, не смея к ней прикоснуться) до появления Анны

Григорьевны, которая пришла к нему в один из домов, расположенных в этом путанном лабиринте улиц, пересекающихся каналом, опередив свою соперницу по курсам, — взобравшись по узкой мрачной лестнице на второй этаж, она уселась со скромно потупленным взглядом за круглый столик в его кабинете и принялась строчить под его диктовку «Игрока», чувствуя на себе его взгляды, слушая его шаги, его кружение вокруг нее, с замиранием сердца ощущая его приближение, пока он сладко не ужалил ее, — когда я вышел на Невский, он являл собой вид зимнего карнавала на реке: вдоль всего Невского в морозном тумане скользили сотни красных, зеленых и оранжевых огней, многократно отражаясь на его ледовой, серебристой поверхности, а по обе стороны проспекта на его широких берегах-тротуарах двигались толпы людей, подсвечиваемые пылающими витринами, то и дело окутываемые клубами морозного пара, которые вырывались из распахиваемых дверей магазинов и ресторанов, а над всем этим пылали и плясали разноцветные рекламы, тоже иногда окутываемые морозным паром, клубы которого достигали их, — по мановению светофоров скользящие по замерзшему проспекту огни на мгновение останавливались, и тогда толпы, двигавшиеся по тротуарам, переливались по мостам-переходам на противоположную сторону, — оказавшись на той стороне, я вошел в какую-то боковую улицу, которая после разгула огней на Невском показалась мне темной и тихой — только две цепочки фонарей уходили куда-то вдаль, теряясь в черноте, — я посмотрел на табличку, висевшую на одном из домов, — оказывается, я шел по улице Марата, бывшей Николаевской, — где-то здесь, неподалеку от Невского, может быть, как раз именно там, где я сейчас проходил, его нагнал какой-то подвыпивший простолюдин в тулупе и ударил кулаком по шее — это было почти за два года до его смерти, и он возвращался домой после своей обычной предвечерней прогулки — он упал, шапка его покатилась по заснеженной мостовой, потому что был конец марта, на улицах еще лежал снег, вокруг него собралась толпа, ему помогли подняться, на лице его была кровь, а подоспевший городской вместе с несколькими свидетелями отвел подвыпившего в участок, — через несколько дней состоялся суд над обидчиком, который был приговорен к штрафу в размере шестнадцати рублей, — присутствовавший на разбирательстве пострадавший просил суд снизить к обидчику и простить его — он подождал обидчика возле двери и, когда тот выходил, сунул ему шестнадцать рублей — в этот период времени он особенно много писал о славянском вопросе, напирая на богоносное значение русского народа, призванного освободить Европу, — в основе этого богоносного предназначения лежал, по его мнению, особый, неповторимый склад русского национального ума и характера, что, между прочим, доказывалось употреблением нецензурных слов, которые, произносимые на разный лад и с разными оттенками, служили простолюдинам вовсе не для оскорбления или брани, а для выражения тонкого, глубокого и даже целомудренного чувства, заложенного в душе каждого истинно русского, — вдоль тротуара, по которому я шел, были наметены сугробы, скрип шагов одиноких прохожих изредка нарушался шумом проезжавших машин, поднимающих за собой поземку, — улица кончилась, но я шел наугад, ведомый каким-то внутренним чутьем, — сначала налево, потом направо и снова прямо по таким же тихим заснеженным улицам, обстроенным одинаковыми четырех- и пятиэтажными доходными домами с тускло светящимися окнами и с глубокими, словно колодец, черными подворотнями, — главное заключалось в том, чтобы в конечном счете идти параллельно Лиговке, не сбиваясь с этого направления, — неожиданно я почти уперся в темное приземистое двухэтажное здание с запертыми воротами, а справа от меня возвышалась смутно белевшая громада собора с куполами, тонувшими в черном небе, — передо мною был Кузнечный рынок, а справа и сзади — Владимирская церковь, — я вышел совершенно точно к нужному месту, и сердце мое даже провалилось от радости и еще от какого-то друго-

го, смутного чувства — слева от Кузнечного рынка, как раз через улицу, виднелся четырехэтажный с полуподвалом, так что его можно было считать и пятиэтажным, серый угловой дом, в темноте казавшийся черным, — угол дома, однако, был не острым, а срезанным, как и во многих петербургских угловых домах, и на этой срезанной угловой грани в один ряд друг над другом помещались окна и балконы, а в низу ее находилась дверь, к которой нужно было спускаться по ступенькам и которая вела в расположенный в полуподвале вестибюль с гардеробом и с сидевшей за столиком возле другой двери, ведущей на лестницу, женщиной — она продавала билеты, и билеты эти вы оставляли у себя или себе на память, потому что их никто не проверял, — кроме того, она предлагала вам скромный проспект музея, на котором унылым типографским клише воспроизводились портрет писателя и обстановка его кабинета, сопровождаемые несколькими фразами и цитатой из Салтыкова-Щедрина, или прямоугольный металлический значок, на котором было выгравировано его лицо с выступающими лобными буграми, — прямо с лестницы был вход в большой зрительный зал, в котором читались лекции, показывались кинофильмы или выступали актеры с чтением его произведений, на втором же и третьем этажах в целой анфиладе комнат с безукоризненно натертым паркетным полом, издающим слабый запах воска, словно в церкви, размещалась литературно-мемориальная экспозиция — на столиках под стеклом, на стенах, на стендах, неподвижных или вращающихся, были разложены и развешаны фотокопии его писем, первые издания его произведений, портреты и фотографии его, членов его семьи и его современников, вырезки из газет о петербургских событиях того времени, представленные в виде больших фотокопий виды Петербурга и Омской крепости, а также Флоренции, Рима и Женевы — мест его заграничных путешествий, иллюстрации к его роману, фотографии сцен из его произведений, игравшихся в театрах, и множество еще других документов, — почти церковная тишина стояла в помещениях музея, нарушаемая лишь благоговеющим шепотом двух-трех парочек, забредших сюда, или шелестом листков записной книжки, в которую усердно заносил что-то одинокий юноша с прыщами на лице, да еще сухим потрескиванием ламп дневного света, которые предупредительно включали пожилые женщины-смотрительницы, когда кто-нибудь из посетителей оказывался в том месте, которое требовало освещения, на минуту оторвавшись от своего вязанья, — впрочем, иногда тишина музея нарушалась неожиданно громким голосом, уверенно объяснявшим что-то, — это приближалась группа школьников с экскурсоводом — группа строго следовала предназначенной схеме осмотра, указка экскурсовода то быстро скользила по экспонатам, представляющим второстепенный интерес, то подолгу задерживалась на предметах, имеющих с точки зрения экскурсовода серьезное познавательное значение, — школьники, стоявшие подальше от экскурсовода, дергали друг друга за рукав, оглядывались по сторонам и хихикали, — экскурсоводы спускались обычно с третьего этажа, где помещались научная часть и дирекция, — директриса, молодая еще женщина, с звучным татарским именем и фамилией известного генерала, чьей женой она была, красивая, с кругловатым лицом и удлиненными блестящими черными глазами, была постоянно занята в своем кабинете с какими-то представителями бюрократических ведомств, иногда ошеломляя их каким-нибудь метафизическим вопросом, который она задавала им, или неожиданно вдруг заговаривая с ними о состоянии своего здоровья, а рядом, в научной части, сотрудники музея, молодые люди и женщины с интеллигентными лицами, невольно внушающими мысль об их еврейском происхождении, оживленно делились последними литературными сплетнями или названивали кому-то по телефону, а потом один из звонивших под дружный хохот остальных рассказывал, как один известный актер (кстати, тоже с еврейской фамилией), подвизавшийся на чтении рассказов Достоевского и часто выступавший в зрительном зале музея, ле-

жал полдня в ванне, в то время как его жена отвечала, что его нет дома, — кто-то из сотрудников посоветовал позвонить и спросить, не утонул ли он еще, — оттого все так дружно смеялись, а потом вдруг неожиданно входила директриса, и они рассказывали ей эту же историю, и по всему было видно, что ей хотелось смеяться вместе с ними, но она напускала на себя строгий вид и у кого-то что-то спрашивала по делу — ей отвечали, но как-то не всерьез и даже заводили с ней какой-то разговор на ее любимые метафизические темы, но так, полушутя, в виде каких-то отдельных замечаний или фраз, которые хорошо были известны всем как ее конек, и она с напускной строгостью отмахивалась от них, но в конце концов не выдерживала и смеялась вместе с ними, и тут же на третьем этаже, если полуподвал считать за этаж, помещалась его квартира — в прихожей на специальной подставке стоял зонт с большой загнутой на конце деревянной ручкой и слегка выцветшим черным брезентом — предполагалось, что с этим зонтом он выходил на прогулку, а на вешалке висела какая-то очень старая шляпа с большими полями — неужели его? — в первой комнате, кажется гостиной, стояли какие-то старинные шкафы с книгами и два или три небольших дамских столика с потемневшей инкрустацией и низенькой оградой — что-то вроде Гиринового столика, — на одном из них лежал листок бумажки, вырванный из тетради, с несколькими фразами, написанными неуклюжим детским почерком, и с подписью «Люба», на стенах висели семейные фотографии Анны Григорьевны — одной и с детьми — Любой и сыном Федей, — на одной из фотографий, сделанных вскоре после смерти отца, одиннадцатилетняя Люба выглядит взрослой, вполне сформировавшейся девушкой, что особенно подчеркивается ее распущенными волосами и длинным платьем, прикрывающим ее сапоги, — через несколько лет после смерти отца она разошлась с матерью и поселилась отдельно, устроив у себя что-то вроде салона, где она вела весьма своеобразный образ жизни, так что Анна Григорьевна, увидев однажды, как выносили из церкви девичий гробик, воскликнула даже: «Ах, зачем это не мою дочь выносят!» — а еще через несколько лет Любовь Федоровна уехала за границу, где уже совсем погрузилась в богему, чему отчасти способствовала ее глубокая душевная неуравновешенность, даже, может быть, психический недуг, — все же в промежутках между своими очередными приступами меланхолии ей удалось написать воспоминания об отце, к которым достоеведы относятся не слишком серьезно, считая многие представленные ею факты неубедительными, а рассуждения — легковесными и необъективными, — в частности, ее попытка причислить Достоевского к норманнам рассматривается просто как какая-то маниакальная навязчивость — особенно старается в этом направлении Горнфельд, написавший предисловие к книге Любви Федоровны: малейшее сомнение в принадлежности Достоевского к русской нации Горнфельд воспринимает как величайшее святотатство, почти как личное оскорбление, — сын же, Федя, смахивал на этой фотографии на старательного, но туповатого гимназистика, с какой-то вырожденческой формой черепа, являвшего собой как бы злую карикатуру на череп своего отца, — потом шла еще какая-то комната, возможно, принадлежавшая Анне Григорьевне, — тоже с фотографиями, даже с какими-то картинами на стенах и небольшим рабочим столиком, дальше — еще какая-то комната, проходная, малозаметная, и, наконец, его кабинет с письменным столом, на котором лежали книги и рукописи, а также папиросные гильзы и коробка из-под табака, и стояли две оплывшие свечи, чернильный прибор и календарь, раскрытый на дате его смерти, а рядом с письменным столом стояла этажерка с книгами, которая, согласно версии Анны Григорьевны, изложенной ею в «Воспоминаниях», сыграла роковую роль в открывшемся у него легочном кровотечении, когда он ночью сдвинул ее, чтобы достать закатившуюся за нее вставку с пером\*, — кровотечение это, быстро прекратившееся, возникло,

---

\* В Ленинграде до сих пор ручку, которой пишут, называют вставкой. — Примеч. авт.

однако, с новой силой на следующий день после того, как, по рассказам Анны Григорьевны, Федора Михайловича сильно раздражил один из его частых посетителей, человек очень хороший, но отчаянный спорщик, — в своих «Воспоминаниях» Анна Григорьевна обходит, однако, молчанием визит в этот день Фединой любимой сестры, Веры Михайловны, приехавшей из Москвы специально по делу о наследстве, — это была та самая сестра, которая жила когда-то на Старой Басманной в Межевом институте и семью которой они с Федей посетили на Масленице вскоре после их женитьбы, когда они приехали в Москву, остановившись в номере гостиницы Дюссо, откуда открывался вид на заснеженные купола московских церквей и запорошенную снегом улицу с мчащимися по ней санями и экипажами, запряженными тройками лошадей, — взяв одну из таких троек, закрывшись меховым пологом, они поехали через всю Москву, останавливаясь возле церквей, которые Федя, хорошо знавший Москву, показывал ей с видом хозяина дома, — выйдя из саней, он кланялся и, снимая шапку, крестился на церковь, и она крестилась и кланялась вслед за ним, а потом в гостиной у Веры Михайловны она стойчески выдерживала недружелюбные взгляды хозяйки и всей ее родни, которые прочили Феде в жены какую-то родственницу, — она встречала эти взгляды и насмешки в упор, глядя исподлобья, с подчеркнуто равнодушным видом разглаживая тесемки на своей юбке, — но пальцы ее дрожали против ее воли и мяли материю, — она чувствовала, что спасительная мачта, за которую она ухватилась, чтобы ее не смыло в море, готова ускользнуть из ее рук, — она выдержала все эти взгляды и язвительные намеки и еще крепче прижалась к мачте, но никогда не могла забыть этой первой встречи с его московской родней, которая была вполне под стать его петербургским родственникам — этому Паше с его наглой ухмылочкой и Эмилиии Федоровне, жене тогда уже покойного его брата Михаила, с ее маленькими колющими угольными глазками, — оба они с самого начала неприязненно отнеслись к Анне Григорьевне, рассматривая ее как некую помеху, считая, что Федя обязан всю жизнь помогать им, хотя у Эмилиии Федоровны были взрослые дети, которые вполне могли содержать ее, а Паша был просто лентяем, не желавшим работать и только компрометировавшим Федю, которому каждый раз приходилось краснеть за своего пасынка, когда он пристраивал его в какую-нибудь должность — и Федя помогал ему — сначала еще до отъезда за границу, когда Паша и Эмилиия Федоровна буквально физически не отпускали их, загораживая им выход из комнаты и требуя денег, заставив Федю снести в заклад свое единственное пальто, и только благодаря ее ангелу-маменьке, давшей деньги его пасынку и невестке и снабдившей деньгами ее и Федю, им удалось вырваться тогда из Петербурга и сохранить семью, затем — после их возвращения из-за границы, когда все их имущество описали за долги его покойного брата по табачной фабрике, — Федя уплатил тогда десять тысяч по векселям, часть которых оказалась подложными, вследствие чего с позором прогорело его издательское дело, тоже начатое совместно с братом, и сам Федя чуть было не угодил в долговую тюрьму — тут, правда, сама она уже взяла дело в свои руки и стала расправляться с этими кредиторами-пиявками, — впрочем, и тут не обошлось без финансовой помощи ее маменьки, — кроме Эмилиии Федоровны и Паши каждый месяц приходилось платить по пятидесяти рублей Фединому брату Николаю, больному и спившемуся, — впрочем, Федя вообще никому не отказывал в деньгах — он подавал каждому нищему, иногда одному и тому же по несколько раз в день, так что однажды в Старой Руссе Анна Григорьевна, обвязав платком себя и детей, встала с ними на пути, где обычно проходил Федя, — «Милый барин, — сказала она, когда Федя поравнялся с ними, — у меня больной муж и двое детей», — и Федя тотчас подал своей жене милостыню — она весело расхохоталась, а он пришел в бешенство, усмотрев в этом нечто кощунственное, — «Это то же, — выкрикивал он, когда они все вместе пошли по направлению к дому, —

то же, что положить нищему в протянутую руку камень, только здесь наоборот, но дело не в этом, это глумление над лучшими человеческими чувствами, понимаешь ты?» — так что на них даже уже оглядывались, но Анна Григорьевна нисколько не чувствовала себя виноватой, потому что в последние годы Федя просто расточительствовал со своими подаяниями, почти навязываясь, так что над ним посмеивались сами же пользующиеся его подаянием, — было в этом что-то неестественное, надрывное, словно он замаливал какие-то свои прежние грехи или пытался заглушить в себе какое-то противоположное чувство, может быть, даже инстинкт, — оборачивалось же все это каким-то юродством, — главное же, он раздавал направо и налево, нисколько не заботясь о том, что Анне Григорьевне еле хватало на содержание дома, и оставались еще невыплаченными долги, и Анне Григорьевне, открывшей книжную торговлю, приходилось до поздней ночи клеить и надписывать конверты для рассылки заказчикам и сверять счета, и одновременно вести хозяйство, и у них были дети, которым нужно было что-то оставить после себя, — единственным проблеском во всем этом, как бы светлым пятном, маячившим в конце длинного темного коридора, было наследство его московской тетки Куманиной, по которому Феде в числе остальной родни полагалась часть Рязанского имения в пятьсот десятин с прекрасным строевым лесом, и хотя Федю как будто мало заботило это, Анна Григорьевна объяснила ему, что это единственное надежное обеспечение их будущего и, главное, будущего их детей, и он неожиданно для себя вдруг сам понял, что так оно и есть, и даже иногда видел себя почти помещиком, показывающим свое родовое имение друзьям и знакомым, или даже воображал себя каким-нибудь земским или хозяйственным деятелем, хотя сами по себе такие мысли были суетными, и он старался подавить в себе этот соблазн, — в это-то время как раз и стало известно, что его любимая сестра Вера Михайловна, проживавшая в Москве, собралась с особой миссией в Петербург: просить Федю отказаться от своей доли в наследстве тетки Куманиной в пользу сестер, и когда Анна Григорьевна услышала это, светлое пятно, маячившее где-то в конце длинного темного коридора, померкло, а когда Федя стал говорить что-то про своих милых сестер, в особенности же про Веру Михайловну, к которой он с детства питал самую нежную любовь, она побледнела и, посмотрев на него чужим, холодным взглядом исподлобья, в упор, сказала, отчеканивая каждое слово: «Благодетель человечества нашелся! Вечно танцуешь под дудку своей родни!» — он тоже побледнел и несколько дней после этого был сдержан с Анной Григорьевной, почти даже не разговаривал с ней, и когда Вера Михайловна, прибывшая в Петербург, явилась к ним на обед в сумерки зимнего петербургского дня, он подчеркнуто обращался только к ней, как будто Анны Григорьевны вовсе и не существовало, старательно расспрашивал о московской родне, об общих знакомых, но Вера Михайловна была рассеянна, отвечала односложно, и когда подали суп, она сразу же перешла к делу, объясняя брату, что ему же это будет выгодно, потому что, отказавшись от своей доли в имении, он получит эту долю деньгами, а в Рязанскую губернию ему при его загруженности будет не так-то просто ездить, да и дорога будет отнимать много средств и времени, — он сидел, ничего не отвечая, потупившись, катая хлебный мякиш, почти не притронувшись к супу, чувствуя на себе выжидательный взгляд Анны Григорьевны, а когда подали второе, Вера Михайловна вдруг отложила вилку и нож и, вынув батистовый платочек, стала усиленно сморкаться, а потом расплакалась и, плача, прикладывая платок к глазам, стала говорить, что, если он не согласится, то это будет с его стороны бесчеловечно по отношению к сестрам, — не глядя на Анну Григорьевну, он чувствовал на себе ее испытующий взгляд, и этот взгляд казался ему тяжелым и насмешливым, — «Ради Бога, оставьте вы все меня в покое!» — закричал он, оттолкнув от себя тарелку с дымящимся вторым, — с заткнутой за воротник салфеткой он вскочил из-за стола и быстрыми шагами прошел к себе

в кабинет — захлопнув дверь, он сел за свой стол, подперев голову руками, — сердце его стучало, молотом отдаваясь в ушах, — где-то там, в столовой или в гостиной, слышались приглушенные голоса, постепенно отдалявшиеся, — вероятно, это Анна Григорьевна провожала его сестру, — встреча с сестрой, семейный обед, к которому он так готовился, закупив любимые Верой Михайловной еще с детства сласти, — все было испорчено — так им и надо! — ему хотелось что-нибудь разбить, бросить, чтобы было еще хуже, — неожиданно на ладонях своих он почувствовал липкую влагу — в комнате было почти темно — трясущимися руками он зажег одну из двух свечей, стоявших на столе, и в ужасе вскочил со стула — обе руки его были в крови, словно он только что совершил убийство, — машинально он провел рукой по бороде, наверное, желая обтереть руку, но крови на ладони еще только прибавилось, — он схватил крахмальную салфетку, засунутую за воротник во время обеда, — она была мокрой и красной, словно сигнальный флаг стрелочника, — еще не веря, что это происходит именно с ним, но понимая, что случилось что-то непоправимое, он бросился к двери кабинета, широко распахнул ее и изо всей силы крикнул: «Аня!» — и хотя голос его прозвучал слабо, она услышала его в другом конце квартиры, в прихожей, где она только что, извинившись за все произошедшее, проводила Веру Михайловну, — она побежала через комнаты, не замечая детей, натываясь на мебель, потому что почувствовала, что случилось что-то страшное, — оставшиеся два дня жизни он почти не покидал свой диван, обитый черной кожей и отгороженный теперь ленточкой от остальной части кабинета, потому что диван этот, хоть и не был подлинником, но был взят в музей от кого-то из семьи Достоевских, под фотографией Сикстинской Мадонны, подаренной ему кем-то из друзей и повешенной в его кабинете Анной Григорьевной в день его рождения, — прибывший врач, постоянно лечивший его, осмотрел его и сказал, что непосредственной угрозы для жизни больного нет, но вскоре после его приезда у больного снова началось кровотечение, и на короткое время он даже потерял сознание — придя в себя, он попросил Анну Григорьевну, стоявшую возле него на коленях, пригласить священника, чтобы исповедаться и причаститься, — священник явился незамедлительно, потому что Владимирская церковь, тонувшая сейчас своими куполами в зимнем ночном небе, находилась рядом с домом, — всю ночь Анна Григорьевна провела в кабинете мужа, кое-как устроившись в креслах, почти не смыкая глаз, то и дело подходя к спящему, чтобы поправить одеяло или пощупать его лоб, — утром он сказал, что чувствует себя хорошо, так что приехавший врач выразил надежду, что через неделю больной уже будет на ногах, так что он даже пожалел, что слишком поспешил причаститься, — было ясное зимнее утро, но в чем-то уже неуловимо чувствовалась близость весны: то ли в голубом, даже по-летнему синем небе, кусочек которого проглядывался через окно кабинета, то ли в зазывных голосах торговцев и лотошников, устроившихся в переулке под окнами, то ли в особом, переливчатом звоне колокола Владимирской церкви, — потом он ел белый хлеб с икрой, пил молоко и клюквенный морс, который сготовила для него мать Анны Григорьевны, — сама же Анна Григорьевна на минуту сбежала в лавку и достала для него отборного винограда, который в это время года не всегда легко было купить, — взбегая по лестнице, она почему-то вдруг вспомнила, как он покупал для нее виноград в Бадене, в особенности же красный, который они ели в вагоне, уезжая оттуда, и еще почему-то вспомнила она, как он бежал через всю платформу с бутербродами, а поезд вот-вот должен был отойти, — она кормила его, держа тарелку на весу, постлав на грудь больного крахмальную салфетку, сидя на краешке дивана, и ей казалось, что каждая виноградина, съеденная им, вливает в него новые силы, возвращает его к жизни, и в течение дня приходило множество посетителей — из редакции, от цензора, по делам предстоящего пушкинского вечера, на котором он должен был читать, или просто интересовавшиеся его здо-

ровьем — он даже продиктовал ей несколько деловых записок — несколько раз он даже раздражался, превращаясь в прежнего Федю, и она опрометью бросалась выполнять его капризы, а когда этот обманчивый день подошел к концу, и она уложила всех домашних пораньше спать и сходила на верхний этаж попросить господина не шагать по комнате, потому что Федю это вышагивание всегда раздражало, и занесла несколько стенографических записей в свой дневник, а затем постелила для себя на пол тюфяк рядом с диваном, на котором лежал больной, — когда она сделала все это, наступила ночь, его последняя ночь в этом доме и в этом мире, — несколько раз она просыпалась и, зажегши свечу, вглядывалась в его лицо — оно было бледно, но дышал он спокойно и ровно, и она, успокоившись, снова засыпала, а утром, когда она открыла глаза, он уже не спал и, повернув голову, смотрел на нее — было в его взгляде нечто такое, отчего сердце ее сжалось, — «Я сегодня умру, Аня», — тихо сказал он, все так же глядя на нее, — она подошла к нему и, взяв его руки в свои, стала уговаривать его, что все обойдется, что доктора считают, что это не опасно, но он, отстранив ее руки, все так же, шепотом, потому что громко говорить он не мог, попросил ее дать ему Евангелие, подаренное ему еще женами декабристов на каторге, с которым он никогда не расставался, с множеством его карандашных пометок на полях, — открыв его наугад, не заглядывая в него, он попросил ее прочесть вслух третий стих сверху, и она прочла: «Иисус же сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду», — «Вот видишь, не удерживай, — сказал он, — значит, я умру», — он закрыл книгу, а Анна Григорьевна, став на колени возле него, снова взяла его руку в свою, и он, притянув ее руку к своим губам, поцеловал ее, а потом он заснул и дышал спокойно и ровно, а она стояла на коленях, боясь шелохнуться, чтобы не разбудить его, а когда он проснулся, было уже позднее утро, и он сам завел свои часы, затем попросил дать ему вымыть зубы и помочь одеться, и, когда он стал причесывать волосы, стараясь закрыть ими плешь, и Анна Григорьевна, опасаясь, что ему это стоит слишком больших усилий, взяла у него щетку и сама попыталась сделать это, он раздражился и стал громко говорить, даже почти кричать, зачем она это делает не в ту сторону, так что она, хоть и испугалась, что раздражение его и громкий разговор могут повредить ему, обрадовалась в то же время его раздражительности, которая давала ей надежду на выздоровление, поскольку была свойственна ему, но когда он с ее помощью был уже почти одет и стал натаскивать на себя носки, на губах его и на подбородке снова показалась кровь — она немедленно уложила его, стерев кровь с его губ и бороды полотенцем, — он лежал одетый, на своем диване, обитом черной кожей, и более не пытался подняться, — в течение всего дня посетители не переводились, но Анна Григорьевна старалась не пускать их в его комнату, приезжали и уезжали врачи, щупая пульс и выслушивая больного, а затем неопределенно пожимали плечами в ответ на вопросительные взгляды провожавшей их до прихожей Анны Григорьевны, — с самого утра было сумрачно, весь день на письменном столе его в кабинете горели две свечи, как будто он сидел и работал и только на минуту отлучился или прилег отдохнуть, — Анна Григорьевна почти не отходила от больного, стоя возле него на коленях и держа его руку в своей, — он почти уже не мог поднять головы, и где-то в середине этого дня, неотличимого от ночи, приехал Паша, и Анна Григорьевна слышала, как за дверью он завел с кем-то разговор о нотариусе, — и больной, видимо, тоже услышал его голос, потому что кивком головы он показал на замочную скважину, намекая на то, что Паша подсматривает, но все-таки он разрешил пустить его к себе, — Паша вошел неслышными шагами и, подойдя к отчиму, наклонился к его руке, но лежавший на диване отдернул руку и покачал головой, давая понять, что он не желает больше видеть Пашу, а потом еле слышным голосом попросил позвать детей, чтобы попрощаться с ними, и Анна Григорьевна ввела их в комнату, и они, воз-

можно, на всю жизнь запомнили щекочущее прикосновение бороды отца, когда, подталкиваемые Анной Григорьевной, растерянные и испуганные, они подошли вплотную к дивану и по примеру матери стали на колени возле изголовья, а он, повернув голову, поцеловал их в лоб — сначала Любу, потом Федю, а затем, подняв руку, перекрестил их, — когда дети ушли, он закрыл глаза и лежал неподвижно, так что Анне Григорьевне вдруг показалось, что он не дышит — «Ты спишь?» — тихо спросила она его, низко склонившись над ним, — он открыл глаза, и она снова увидела в них то же выражение, что и утром, и она вдруг поняла, что выражение это была тоска и что он умрет, — и к горлу ее подступил горький ком, и чтобы не разрыдаться в его присутствии, она вышла из его кабинета и на минуту дала волю своим слезам, уронив голову на рабочий столик, стоявший в ее комнате, так что волосы ее, всегда аккуратно уложенные, разметались по столу, закрыв ее руки, — она не умела плакать, и поэтому рыдания ее больше походили на смех или начинающуюся истерику — дети с ужасом смотрели на нее, и Марья-кухарка, пожилая рябая женщина, подвязанная платком, растерянно топталась в двери, — а из прихожей и гостиной слышался сдерживаемый звук голосов и покашливание — это друзья, знакомые, визитеры постепенно заполняли квартиру, а иные, осторожно приоткрыв дверь в ее комнату, тихо входили и, остановившись на некотором расстоянии от плачущей, о чем-то перешептывались, — смахнув слезы, поправив волосы, она быстро пошла, почти побежала в комнату умирающего — как она могла оставить его одного хоть на секунду?! — он лежал все так же, на спине, открыв глаза, глядя куда-то в потолок, как будто силился прочесть что-то, — иногда он шепотом говорил что-то, но речь его казалась бессвязной: «Какие они несправедливые! (возможно, это относилось к сестрам)... Не ветри (возможно — к Анне Григорьевне)... Закрыла ли Марья печку? ...Хватит ли винограда? ...Как я разоряю вас...» — все это, а также приход Григоровича и другие события, Анна Григорьевна, хотя и несколько отрывочно, сумела-таки занести в свой дневник, правда, уже после его смерти, но в тот же вечер, — впрочем, она вообще не потеряла головы и не потеряла, как любят сейчас выражаться, контроля над событиями — посылала за врачами, расплачивалась с кучерами, посылала Марью за льдом, который по предписанию врачей давали глотать больному, не допустила прихода нотариуса в дом, чего так настойчиво добивался Паша, сообщала посетителям о состоянии здоровья мужа и даже подписала какие-то две или три деловые бумаги, — было около семи часов вечера, и она сменила свечи на его столе, потому что те уже догорели, когда губы его и подбородок снова окрасились кровью, — она вытерла кровь полотенцем, висевшим тут же на спинке стула, и с помощью Марьи, которую она кликнула, подложила еще одну подушку под его голову, чтобы ему было выше, как рекомендовали врачи Кошлаков и фон Бертцель, постоянно лечившие его, — они стояли тут же рядом, попеременно щупая его пульс, иногда прикладывая стетоскоп к его груди и многозначительно переглядываясь, — струйка крови снова потекла по углу его рта, словно у раненого в грудь, — Анна Григорьевна вытерла ее, но, когда она отняла полотенце, струйка как ни в чем не бывало осталась на прежнем месте — возобновившееся легочное кровотечение не удалось остановить, и немного крови пролилось даже на подушку, — она снова стояла на коленях возле его дивана, держа его за руку, чуть склонившись над ним, напоминая фигуру скорбящей женщины, часто изображаемую на надгробиях, — он лежал, закрыв глаза, не открывая их даже на ее зов, когда она, хотя и тихо, но отдельно повторяла его имя, — по видимому, он впал в беспамятство, — а в соседних комнатах были слышны сдержанные голоса посетителей и то и дело раздавались осторожные звонки в дверь, — она нежно гладила его руку, и иногда ей вдруг начинало казаться, что это у него был припадок, как это с ним случалось много раз, и он просто еще не пришел в себя, и что вот сейчас, через минуту, он откроет глаза, узнает ее и попросит помочь ему встать, а иног-

да ей казалось, что это просто сон, и что она сейчас проснется и услышит, как он шагает в своем кабинете, и как позванивает ложечка в его стакане, потому что он ходил вместе со стаканом, в который был налит крепкий чай, но голоса из соседних комнат становились все слышнее и отчетливей, — слышалось уже передвижение ног, чьи-то шаги — все явственнее и все ближе, — наверное, посетители уже входили в его кабинет, и она с ужасом осознавала, что все это происходит на самом деле и что она стоит на коленях перед умирающим мужем — ее мужем, Федей, который приходил к ней каждый вечер прощаться, писал из Эмса, куда он ездил каждое лето лечиться, длинные, горячие и бестолковые письма или устраивал ей сцены ревности во время своих литературных чтений, когда она перекидывалась с кем-нибудь словом или ему казалось, что она на кого-то смотрит, а потом они шли домой раздельно, но он не выдерживал, догонял ее и просил простить его, и говорил, что если она не простит, то он тут же на улице станет перед ней на колени, — она прощала его, и они шли вместе — он осторожно поддерживал ее под руку и заглядывал ей в глаза, а потом, на минутку оставив ее, забежал в лавку и накупал сладостей — орехов, изюма, конфет, — придя домой, они пили чай, и он подставлял ей и детям сласти, но если у нее бывал насморк, он раздражался и просил прекратить ее чихать, и ей становилось смешно, и он тоже в конце концов начинал смеяться, — пришедшие проникли уже в комнату умирающего, столпившись в противоположной части кабинета почтительным полукругом, не смея еще приблизиться к дивану, на котором он лежал, но стоявшая на коленях женщина, олицетворявшая собою скорбь, чувствовала на себе дыхание этих пришельцев, которые по какому-то неписаному, но неумолимому закону приобретали теперь право над ее мужем, — в их присутствии она могла даже себе позволить плакать и в бессилии уронила голову на руку умирающего, — кто-то стал уговаривать ее встать с колен и хоть немного передохнуть, кто-то услужливо подставил ей стул и осторожно помог ей приподняться, — в окнах кабинета отражались дрожащие огни от двух свечей, стоявших на письменном столе, и фотография Сикстинской Мадонны, парившей в облаках с младенцем, висевшая над диваном, на котором лежал умирающий, а за окном была зимняя петербургская ночь — наверное, такая же, как сейчас, с такими же заснеженными улицами и с таким же ночным небом, в котором тонули купола Владимирской церкви — но когда Анна Григорьевна услышала чьи-то легкие шаги, приближавшиеся к ней, и увидела свою мать, она не выдержала и зарыдала, припав головой к ее груди, и мать ее тоже не выдержала и заплакала, а рядом с умирающим стоял доктор Кошляков, чуть склонившись, держа руку на его слабеющем пульсе и поглядывая на свои большие серебряные часы, словно это могло что-нибудь изменить, — огни свечей плашмя падали на лицо умиравшего, своей белизной почти сливавшееся с подушкой, если бы не темные тени, легшие вокруг глаз, и борода, казавшаяся черной, — он лежал в своем костюме, который утром помогла ему надеть Анна Григорьевна, словно человек, только что получивший смертельное ранение, — грудь его судорожно поднималась, и там внутри слышалось непрекращающееся клокотанье, поднимавшееся к горлу и вырывавшееся наружу через рот и нос в виде кровавистой пены, и Анне Григорьевне, снова ставшей на колени возле дивана, на какое-то мгновение вдруг снова начинало мерещиться, что у него только что был припадок, потому что после припадков у него почти всегда показывалась пена у рта и что-то булькало в груди, и что все это пройдет, и он сейчас откроет глаза, и позовет ее, но толпа визитеров, расположившись амфитеатром, заняв почти полкомнаты, неумолимо надвигалась, и во главе всех этих зрителей шествовал высокий и седой Григорович, этот «французишко», как совсем недавно окрестил его умиравший, когда на одном из своих литературных чтений он увидел, как Григорович поцеловал руку Анны Григорьевны, — это была одна из тех сцен ревности, которые он устраивал Анне Григорьевне в последние годы своей жиз-

ни, — Григоровича он никогда особенно и не любил, но после этой истории стал говорить о нем зло и ехидно, называл его почему-то вральманом и бесцеремонно отделился от его общества, — впрочем, тут могло быть и какое-то поздно пришедшее к нему прозрение, а может быть, только смутная догадка — в те далекие годы, когда панаевцы травили его, именно Григорович, живший тогда вместе с ним и выступавший в роли его покровителя и чуть ли не благодетеля, снесшего «Бедных людей» Некрасову, именно он, как это потом стало доподлинно известно из воспоминаний Панаевой, будучи человеком общительным, передавал панаевцам — Тургеневу, Некрасову и Белинскому — горячие и неосторожные слова, высказываемые автором «Бедных людей» в порыве откровения своему доброжелателю и почти что соседу по комнате, а потом возвращал ему насмешливые, а иногда едкие высказывания этих людей о нем, сея и разжигая таким образом вражду, — мать Григоровича действительно была французенкой и даже, кажется, актрисой или танцовщицей, и молодой Григорович, высокий, длинноногий и немного жуир, был всегда устройтелем и предводителем балов, выделявая самые изысканные и трудные «па» с необычайной легкостью, ведя за собой в кадрили все пары, становясь на колени перед своей дамой с каким-то особым изяществом и выделанностью, — сейчас он тоже почти что дирижировал, то чуть подвигаясь вправо и увлекая за собой толпу визитеров, то поднимаясь на цыпочки, становясь даже на пуанты, делая несколько воздушных шагов по направлению к дивану, и визитеры, повинуясь его знаку, тоже продвигались вперед — впрочем, все это могло только казаться Анне Григорьевне, потому что она стояла на коленях возле дивана, низко склонив голову над лицом умирающего, и не могла видеть, что происходило в комнате позади нее, — она могла только чувствовать и догадываться, и, кроме того, судя по ее отрывочным записям, сделанным в дневнике, Григорович заезжал днем, но, с другой стороны, почему бы ему, человеку столь светскому и общительному, к тому же бывшему другу умиравшего, было не остаться, чтоб уж досмотреть все до конца? — теперь мать Анны Григорьевны сидела на стуле, положив руки на плечи дочери, стоявшей на коленях возле изголовья дивана, — впрочем, иногда она покидала дочь на несколько минут, чтобы пойти присмотреть за детьми, которые уже третий день были без присмотра, и тогда толпа, теснившаяся в комнате, почтительно раздвигалась, чтобы дать ей дорогу, — теперь в окне, за которым лежала черная петербургская ночь, отражались только Мадонна с младенцем, парившие в облаках, лишённые своих традиционных святых почитателей, потому что надвигавшаяся толпа загородила свечи, горевшие на столе, и пламя их уже не могло отражаться в окнах, — доктор Кошляков, иногда чуть склонившись над диваном, щупал совсем уже слабый и неровный пульс умирающего, больше, очевидно, для приличия, а когда приехал доктор Черепнин и, присоединившись к своему коллеге и вынув из кармана жилета такие же большие, как у Кошлякова, серебряные часы на серебряной цепочке, приложил свою руку к запястью умирающего, пульса уже почти нащупать нельзя было — оставалась еще только какая-то тонкая, еле уловимая ниточка, еще связывающая его с этим миром, но и она слабела с каждой минутой, — умирающий неотвратимо погружался в глубокую бездонную пропасть, напоминающую кратер вулкана, — ему же казалось, что он взбирается сейчас на самую высокую гору в мире, — она была намного выше тех, на которые он когда-либо всходил или пытался взойти, и ему казалось, что шел он удивительно легко по какой-то прямой, светлой, хрустальной дороге, — он шел с такой легкостью, словно не восходил, а спускался вниз, порой ему даже казалось, что он летит на каких-то невидимых крыльях, и в конце этой дороги, на самой вершине горы, сияло яркое солнце, отражаясь в хрустале, по которому он скользил, и, когда он достиг вершины и солнце на миг ослепило его; он увидел, как низки и ничтожны были те горы, на которые он карабкался ранее, — все они были просто жалкими холмика-

ми, и с вершины этой гигантской горы ему открылась не только вся земля с суетой ее обитателей, но вся вселенная с яркими огромными звездами, и на мгновение ему открылись страшные тайны этих отдаленных планет, но солнце в ту же минуту погасло, и он погрузился в страшный, бездонный мрак, — круг зрителей почти полностью сомкнулся, и еле уловимый вздох облегчения и сдержанный шепот прошептался по рядам присутствовавших, как это бывает в театре, когда после кульминации наступает развязка, — последнее биение сердца констатировал доктор Черепнин, приставивший стетоскоп к груди умиравшего и затем хранивший этот стетоскоп как семейную реликвию, — согласно Анне Григорьевне, это произошло в восемь часов тридцать восемь минут вечера — находившийся в толпе зрителей литератор Маркович, написавший заметку в газете о последних часах его жизни, зарегистрировал момент кончины в восемь часов тридцать шесть минут, — публика медленно расходилась с приличествующими моменту скорбными лицами, выражение которых, однако, менялось в сторону даже некоторой оживленности по мере продвижения к прихожей, равно как и шепот, постепенно переходивший то в светский разговор, то в деловую беседу, и впереди всех был, конечно же, Григорович, выделяющийся на лестнице свои замысловатые «па», приглашая расходившихся визитеров последовать своему примеру, — после ухода гостей во всех комнатах зажгли свет, словно в доме был какой-то праздник, двери стояли почти что открытыми, а к моменту обмывания тела неожиданно пришел брат Анны Григорьевны, приехавший утром из Москвы и ничего не знавший о кончине шурина, и только топтавшиеся на лестнице несколько простолюдинов в чуйках, попросивших его похлопотать о заказе на гроб для какого-то помершего сочинителя, навели его на страшную мысль, и через несколько мгновений Анна Григорьевна уже рыдала у брата на плече, а в момент обмывания тела приехал Суворин прямо из театра, где он смотрел драму Гюго с госпожой Стрепетовой, и его поразила белизна тела умершего и то, как тело это, бывшее теперь только оболочкой, переворачивая, клали на солому, которая на каторге, наверное, столько раз служила подстилкой для бывшего уже теперь обладателя этого тела, — к двенадцати же часам ночи все было готово — почивший лежал на столе, поставленном по диагонали, с лицом строгим и умиротворенным, как это бывает у всех мертвецов и каким изобразил его Крамской, пришедший на следующее утро с мольбертом и красками, и над головой его, под иконой, была зажжена лампада, а в скрещенные на груди руки были вставлены свечи, и до четырех или пяти утра во всех комнатах горели огни, а сейчас все окна в доме, напротив которого я стоял, были темны, словно там теперь никто не обитал, и только в окнах угловой грани дома, олицетворяющей, по-видимому, как и все углы домов, которые он выбирал для жилья, вершину, к которой он постоянно стремился, только в этих окнах мерцали и переливались какие-то неясные блики — наверное, далекие отблески огней ночного карнавала на Невском, и так же темны были огромные зеркальные окна погруженного в сон Кузнечного рынка и небольшие зарешеченные окна Владимирской церкви, в которой размещался какой-то склад или база, — ветер на перекрестке задувал со всех четырех сторон, поднимая снег и образуя подобие метели, — я подошел вплотную к дому — на табличке, висевшей возле угла дома, было написано: «Улица Достоевского», — но мне почему-то хотелось считать ее «Ямской», как она и называлась до ее переименования, — я пошел мимо этого дома по Ямской, обозначенной прямой цепочкой редких и тусклых фонарей, теряющихся где-то вдали, мимо других таких же или почти таких же домов, казенных, четырех- или пятиэтажных, с глубокими черными подворотнями, ведущими в типичные петербургские дворы-колодцы, — в один из таких дворов я даже зашел, чтобы больше ощутить колорит, — из пустынного двора, заключенного в четыре внутренних стены дома, через глубокую черную подворотню можно было пройти в следующий двор, такой же пус-

тынный и четырехугольный и тоже с подворотней, ведущей в следующий двор, — я шел по почти безлюдной заснеженной Ямской с наметенными вдоль тротуара сугробами, вокруг которых поигрывала метель, и ботинки мои, подсвечиваемые снегом, возвращали ему световые пятна, словно я был обут в белые валенки, — шел мимо казенных толстостенных домов с молчаливыми темными или тускло светящимися окнами, словно электричество горело вполнакала, или как будто там вообще горели коптилки, как это бывало во время войны, а возле подъезда одного из домов висело аккуратно припиленное объявление с надписью: «Закрывайте плотно дверь, экономьте тепло», и мысленно я увидел перед собой блокадный Ленинград, такой, каким я представлял его себе по газетам, книгам и рассказам очевидцев, в особенности же по рассказам Гили, — наверное, этому городу и до сих пор не хватало тепла, или так была неистребима память о страшной зиме, — Ямская улица, не сворачивая, перешла в какую-то такую же прямую и заснеженную, с такой же теряющейся вдали цепочкой фонарей, — что, собственно, мне надо было здесь? — почему меня так странно привлекала и манила жизнь этого человека, презиравшего меня («заведомо», «зазнамо», как он любил выражаться) и мне подобных? — и не поэтому ли я пришел сюда под покровом ночи и шел, словно вор, по этим пустынным и безлюдным, запорошенным снегом улицам? — не поэтому ли, посещая его музей-квартиру на Кузнечном или какие-либо другие места, связанные с ним, я держался как-то в сторонке или позади, словно попал сюда случайно и словно все это меня не очень интересует? — и не были ли мои «давешние» (как он бы сказал) ночные видения у Гили, в которых он в конечном счете обращался в Исаю Фомича, лишь жалкой попыткой моего подсознания «узаконить» мою страсть? — улица, по которой я шел, все так же отбрасывая световые пятна своими ботинками-валенками, могла завести меня слишком далеко, в незнакомый район, из которого мне трудно было бы выбраться, — я повернул в один из боковых переулков и впереди увидел спасительную Лиговку с ее трамваями, — переулок назывался, кажется, Свечным, и тут же отходила от него какая-то Боровая улица, — названия переулка и улицы были старыми, как и сто лет назад, и я подумал, что он, наверное, не один раз проходил здесь, — на развилке этих двух улиц стояла не то какая-то старая часовня, не то обезглавленная церковь, окруженная белым искрящимся снегом, — здесь было совсем почти светло — то ли от близости Лиговки, то ли от искрящегося снега, и какая-то семья — родители, плохо и бедно одетые, и с ними девочка лет семи или восьми, тоже в очень худом пальтишке, — шла мимо этой бывшей часовни или церкви — лица у них были белые, чухонские, — отец, шедший чуть сзади нетвердой походкой, догнал жену с девочкой, и они все втроем неожиданно повалились в сугроб, — девочка вскочила первой и, отряхиваясь от снега, стала что-то быстро и горячо выговаривать родителям, которые никак не могли подняться, а когда поднялись и пошли, то я увидел, что и мать девочки идет нетвердой походкой, — девочка пошла впереди, словно поводырь, или, может быть, просто стыдясь своих родителей, — в ореоле фонарей Свечного переулка медленно кружились снежинки — я приближался к Лиговке, а где-то позади меня осталась полутемная, бесконечно прямая улица, вся заснеженная, с поземкой, наметающей сугробы, с молчаливыми казенными домами и с самым молчаливым и темным из них — угловым.

Несколько минут спустя я уже ехал на трамвае к Гилюму дому, а еще через полчаса мы уже снова беседовали с Гилей, сидя на бывшем Мозином диване, и она рассказывала мне про блокаду, про Мозю, про тридцать седьмой год, а за окнами лежала зимняя петербургская ночь, и когда внизу на улице с грохотом проносились трамваи, весь дом вместе с Мозиной лампой вздрагивал, словно корабль, стоящий у причала.